
ВОСПОМИНАНИЯ КАДЕТ

Борис Плотников

Волшебный сон

Горажде спит. Спят кадеты, спят воспитатели, и даже дежурный кадет ночной смены клюет носом и вот-вот заснет за своим маленьким столиком с коптящей керосиновой лампой. Огонь в большой железной печке давно потух и в спальне также холодно, как холодно на дворе, где дождь вперемешку со снегом старается забраться к спящим кадетам через щели больших окон старой австро-венгерской казармы. Кадеты съежились под дырявыми солдатскими одеялами, и снятся им волшебные сны.

Где-то на экваторе, где бирюзовое море плещется и сверкает, и далеко-далеко незаметно сливается с таким же бирюзовым и сверкающим безоблачным небом, лежит на золотом песке один из кадет большой холодной спальни Донского кадетского корпуса в Горажде. Рядом качаются под дуновением теплого ветерка высокие пальмы и под тяжестью спелых кокосов клонятся к земле. Там на берегу, не знающие забот счастливые люди, большим «мачете» ловко срезают верхушку ореха и пьют прохладную кисло-сладкую влагу, которая переливается по подбородку на загорелую бронзовую грудь, и по животу и ногам стекает к золотому горячему песку. Но это никого не волнует: кокосов вокруг много, а теплое море рядом принимает и очищает загорелых «робинзонов» от всякой скверны. Сверкающее море смывает липкий кокосовый сок с загорелой груди. Нужно только броситься в белую соленую пену и проплыть под гребнем огромной волны в открытое море. Оно принимает всех в свои горячие объятия, и словно дышит своей огромной грудью, то поднимая высоко, почти что до самого синего неба, то опуская до самого песчаного дна, до подводного сада, где в коралловых рощах цветут нежные стыдливые анемоны. В этом саду плавают, как по команде,

стаи пестрых рыбок-попугайчиков. В синем небе парят альбатросы, и куда-то спешат неуклюжие пеликаны. Наш кадетик там, в теплом раю, и жизнь кажется ему прекрасной и бесконечной.

Но твердый матрас, набитый соломой, холоден и тверд, как глыба льда, похожая на те, что раскалываются с грозным грохотом и скрипят и скрежещут в набухшей совсем рядом желто-шоколадной реке. Наш будущий «робинзон» поворачивается, поправляет одеяло и спешит догнать упущенный сон.

Но бирюзовое море куда-то ушло, и снится ему могучая река. Она с трудом катит свои мутные коричневые волны. Противоположного берега не видно, и река кажется странным грязным желтым морем. Возле берега качаются лодки, вырубленные из стволов гигантских деревьев. Полуголые черные их капитаны жуют табак, и то и дело сплевывают черную жвачку за борт. За щекой у них порции жгучего табака, а в руках острые широкие «мачете». Вокруг летают с громкими криками чайки, альбатросы и пеликаны, вылавливая из мутной воды выброшенную рыбу требуху, а мошкара так и липнет к знойным блестящим телам черной команды. Купаться в реке не рекомендуется: слишком много в ней всякой хищной твари: скатов, электрических угрей и даже крокодилов. Но кадет счастлив в тропическом раю, в этой огромной турецкой бане, где жарко, как в печке, где совсем рядом лежат горы желтых спелых бананов и соленой рыбы, а под деревянной скамьей в лодке покоится бутылка мутной целебной настойки из странных диковинных ягод, — все, что нужно, чтобы забыть жару, комаров и мошкару...

А в Горажде печка потухла, стекла окон покрыты причудливыми ледяными узорами, одеяло не греет. Греют кадета вещие сны, которые видятся каждую ночь, а утром, просыпаясь, вспоминает он их на миг и сразу забывает.

Вот видит он большой, богато убранный стол в каком-то далеком, неслыханном на уроках географии городе. В этом далеком городе будто бы живет наш кадет много-много лет. Он за столом окружен друзьями. Некоторые из них товарищи-кадеты, такие же старики, как и он, другие же, представьте себе, кадеты молодые и красивые, прилетели на этот странный пир из далекой России!

Вот встает лихой моряк-подводник¹. Он как будто стоит на командном мостике диковинной подводной лодки, которая вся содрогается от только что покинутой невероятной глубины. Его рука

¹ Юрий Петрович Филиппев.

покоится на устройстве перископа, в который он видит то, чего нам видеть не дано. С брабантских манжет его мокрой просоленной куртки стекает на пол морская пена. В глазах решимость и буря. Он поднимает хрустальный бокал, в котором сверкает тысячами искр вино, и чеканит команду, которую все принимают как закон. Он провозглашает торжественный тост за Россию: «Дорогие друзья! За Россию нам выпить пора. Гип, гип, ура! Ура, ура, ура!» Этот тост-заклинание знаком участникам пира, он привезен из Пунто Фихо в Венесуэле, где первый раз в этой форме провозгласил его Дима Брылкин², старый кадет Донского корпуса в Горажде.

Встает и он. В руках у него скромная потрепанная беленькая кепочка, с которой не расстанется он никогда, а в глазах у него глубины, неведанные нам, простым солдатам нашей сборной разношерстной команды. Ему перископа не нужно, он ясно видит вдали все, что было, и даже иногда все, что будет. На его плечах генеральские погоны с вензелями, которые в России забыты, и о которых в России рано или поздно вспомнят. Его рука дрожит, но голос тверд, как алмаз. Он поднимает свой бокал за дорогих гостей, которые прилетели к нему издалека. Он не опускает случая пожаловаться на членов венесуэльского объединения, которые, живя под боком (всего лишь 700 км), не находят времени приехать к нему в гости и рассеять его тоску и одиночество. Но в голосе и угроза: «Я приготовлю невиданный пир для званных, и если никто из званных не появится, я пошлю слуг моих на улицу и приглашу случайных прохожих!»

За ним встает молодежавый председатель венесуэльского объединения³. Он в безупречном штатском костюме. Малиновый галстук с застежкой с двуглавым орлом, а в руках булава, пожалованная ему общим собранием венесуэльской кадетской Сечи — внешний атрибут его власти. Он приветствует гостей и надеется, что они и впредь будут баловать нас своим посещением, потому что контакт с русскими людьми и с русскими кадетами нужен нам, как воздух.

Вот встают два кадета-суворовца⁴ из далекой Азии, из Екатеринбурга. Они передают привет и подарки заграничным кадетам от суворовцев далекого прекрасного города. Малахит и опалы в их руках загадочно блестят и напоминают присутствующим о невиданных сокровищах седого хмурого Урала. Они зовут всех в гости

² Дмитрий Михайлович Брылкин

³ Георгий Григорьевич Волков.

⁴ Григорий Ефимович Александров и Александр Иванович Дурнов.

и предлагают устроить следующий съезд в святом для всех русских людей городе. За кадетский съезд зимой в Сибири поднимают они свои бокалы, и у всех присутствующих от одной только такой мысли кружится голова!

Встает другой суворовец⁵ и рассказывает о корпусе в прекрасной Казани, о сказочном городе, о большой реке, матушке Волге, о кадетах, о воспитателях и преподавателях. Лицо его сияет, он говорит, что в его корпусе, как и в Донском, живут такие же кадеты, как и мы. Он приглашает всех на следующий съезд к себе, в «порт семи морей», в Казань, где огромное Суворовское училище примет всех в свои объятия. Жена казанского суворовца и поэтесса⁶, стараясь завлечь присутствующих, читает свои замечательные стихи, и все переносятся с ней в русский лес, видят золотые купола казанских церквей и кувыркаются вместе с гномами ее стихов в снежных сугробах далекой России.

Какая сказка за окном!
Стоят деревья в серебре,
А из сугроба смотрит гном,
Ему не спится в красоте.

Как быстро ночь моя прошла,
Уж утро брезжит за окном,
И в доме сказка родилась
В союзе с этим волшебством.

Всю ночь трудился добрый гном.
Развесив иней—кружева,
Он заглянул в мое окно:
«А ты что за ночь создала?»

Мой милый гном, смотри, дивись.
Я лето с осенью сплела,
И в доме у меня тепло,
Хоть за окном январь, зима.

⁵ Анатолий Владимирович Хронусов.

⁶ Ольга Сергеевна Хронусова.

Цветы июля с веткой сентября
Я обручила любящей душой,
И, стоя у природы алтаря,
Смотрю на мир в согласии с собой.

Но вот встает суворовец, бравый танкист из восточной Пруссии⁷, отошедшей после Второй мировой войны к России. В просаленной кожаной куртке, он стоит перед нами суровый и закручивает свой колючий ус, не предвещая ничего хорошего каждому, кто осмелится ему противоречить. Его руки в мазуте и в масле, и бокал сжат так крепко, что вот-вот лопнет. Только что закончен танковый рейс по бурным волнам Карибского моря. Его танки и команда стоят внизу на улице и ждут его приказаний, не допуская никого на пушечный выстрел.

Суровый полковник рассказывает о корпусе на янтарных берегах Балтийского моря, и мы видим, как маршируют, как живут там кадеты, небесный покровитель которых — Великий князь и святой Александр Невский. Полковник поднимает свой бокал за славные кадетские корпуса, и сиплым, охрипшим от команд голосом требует, чтобы кадеты заграничных объединений взяли под свое покровительство его кадет.

Вот встает представитель Северной Пальмиры, кадет душой и востоковед⁸, и переносит всех нас на берега холодной Невы, где красуется Мраморный дворец, резиденция отца всех кадет, Великого князя Константина Константиновича. Мы слушаем, затаив дыхание, его золотые слова, потому что большой он знаток славной русской военной были. Мы при этом стараемся молчать: нам страшно, что выслушает он нас со вниманием, откроет толстый том, который всегда у него под рукой и выставит в графе успешностей всем нам на древнем санскрите или красивой арабской вязью жирную двойку. Он вспоминает недавно прогремевший 16-й Кадетский Съезд и приглашает нас поднять кубки за кадетскую нерушимую дружбу.

И тут маленький кадетик в большой холодной спальне отдает себе отчет, что тот, который сидит за богатым столом на «камчатке», это он, и с ужасом видит, что очередь доходит до него и что придется ему сейчас встать и сказать что-то особенное, подходящее для такой важной и уникальной встречи. Полковник, капитан, профессор, по-

⁷ Сергей Афонский.

⁸ Эржан Сагимбекович Юсупов.

этесса, сибиряки прилетели из далекой России его слушать и потом рассказывать дома! Ведь Россия прилетела в гости!

Бокал дрожит у него в руке, он отстраняет все мешающие слова испанского, немецкого и английского языков и ищет нужные слова родного, и, как в трансе, бормочет на всю спальню спящим своим товарищам свое слово.

«Дорогие друзья! В моей долгой жизни я наделал много ошибок, а в моей скромной общественной деятельности наговорил много глупостей. Вся наша жизнь соткана из таких ошибок, и я совершенно не намерен сейчас исповедоваться перед вами и перечислять их. Но хочу рассказать о моей одной особенно курьезной ошибке. Десять лет тому назад, на кадетском съезде в Каракасе я заявил публично, что нам, кадетам-венесуэльцам, смены нет!

Дорогие друзья, дорогие товарищи! Десять лет тому назад я ошибался! У нас есть смена и эта смена вы, нахимовцы и суворовцы и стоящие вам в затылок новые кадеты новой России.

Мы уходим, а вы и новые кадеты должны продолжить наше дело и дело наших отцов и дедов. Вы должны позаботиться о том, чтобы идеалы нашего отца, Великого князя Константина Константиновича, восторжествовали в обновленной стране, чтобы кадеты стали, как было это всегда, опорой и поддержкой строителей великой России, государства, в котором настоящая свобода и настоящее равенство всех его граждан будут главной задачей его правителей.

Я повторяю и еще раз повторю, что в 1988-м году мое заявление было, к счастью, ошибочным. У нас есть смена, и я поднимаю мой бокал за вас, за новых кадет новой России! Я поднимаю этот бокал за нашу смену! Ура, ура, ура!»

Без четверти шесть. В темное утро пасмурного зимнего дня горнист в кальсонах и солдатских ботинках на босу ногу, направляющийся в коридор, чтобы дать первый сигнал, услышав мои крики, ткнул меня в бок своей трубой и бесцеремонно прервал мой волшебный сон и мой тост. Этот сон показался мне тогда странным и неинтересным. В то далекое время я, подобно пушкинскому хлопцу⁹, был «может быть не трус, да глуп» и не успел еще повидать «виды». В то время меня больше интересовали вороньи яйца, которые я обнаружил в дупле большого дерева на берегу разбухшей коричневой Дрины.

Сейчас, семьдесят лет спустя, я не могу не удивляться пророчеству моих ночных видений далеких, далеких лет. Большой тропи-

⁹ ... в стихотворении «Гусар».

ческий город, теплое море, желтая река, званый ужин, заморские дорогие гости, — все это тут. Но совсем не случайно видятся они мне во сне, — действительность конца двадцатого века похожа на волшебный сон.

Я бесконечно рад, что в России, наконец, знают о существовании заграничных кадетских корпусов. И то, что у заграничных кадет появилась новая смена, настолько фантастично, что вижу я ее, как в волшебном сне, в волшебном сне ребенка. Мы, кадеты заграничных корпусов, прожив десятки лет с чувством одиночества, мы, как дар Божий, находим наследников, с которыми совсем недавно, на 16-м съезде, сидели за одним столом, маршировали по широким русским улицам и даже танцевали на балу! Подобным фейерверку, которым нас потчевали кадеты-нахимовцы на берегах Невы на прошедшем съезде, мы видим будущее кадетских корпусов России!

Прожив десятки лет последними могиканами в далекой тропической Венесуэле, мы дожили, наконец, велением судьбы, в квартире Юрия Львовича Ольховского, до повторения волшебного сна, и подняли там свои кубки за долгожданную смену. В далекой Венесуэле мы приветствуем директоров, воспитателей, преподавателей и кадет русских кадетских корпусов России. Мы знаем, что их ждут большие трудности, но мы знаем также, что, подхватив знамя, которое мы несли все эти страшные годы, они поднимут его высоко-высоко «на славу нам и на страх врагам...»

Каракас, декабрь, 1998 год.

Почему я?

Биографический очерк

*Я помню день свой поступленья,
Когда венчались мы с тобой;
Я отдал Вакху приношенье
И окропил тебя вином.*

(Второй куплет «Фуражки»)

Русский кадетский корпус в Югославии, в 1937—1938 годах, II класс

Конечно, я ещё не знал, кто такой Вакх, и у меня и в мыслях не было окроплять вином выданную мне кадетскую фуражку, но из песни ведь слов не выбросишь.

(**Вставка** из заметки полковника Е. П. Исакова:

«Вакх — античный бог вина и веселья. Ясно, что двенадцатилетний мальчик не мог знать этого имени, как и не мог «окроплять» фуражку вином. Это задор и фантазия старших кадет, которые заменили второй куплет песни, и её, логически нелепую, пели не только кадеты Российских корпусов в Зарубежье, но и возрождённых теперь в России. А куплет-то правильно поётся так:

*Я помню день свой поступленья:
Тобой венчался, как венцом.
Надев тебя с благословеньем,
Семь долгих лет носил потом».)*

Конец августа 1937 года наступил очень быстро. Отец не мог отвезти меня в корпус — не хватало денег. Я ехал с Юрой Козорезом, моим будущим одноклассником, которого отец вёз на переэкзаменовку. Мы выехали за неделю до занятий.

В Белграде меня встретил ротмистр Л. В. Ольховский, однополчанин отца. Его сын Юрий, XXI выпуска, перешёл в пятый класс корпуса. Переночевав у них, на следующее утро Юра посадил меня на поезд, который шёл в Белую Церковь.

Эту первую поездку я совершенно не помню, а описал её только потому, что она на самом деле состоялась, но воспоминаний о ней никаких не осталось, кроме удивления громадным размером военной казармы, где находился корпус. Мне казалось, что я там потеряюсь, заблужусь.

Я не буду описывать всего корпуса. Всё его внутреннее расположение уже так красочно и точно описано в нашей «Юбилейной Памятке» 1997 года, стр. 145—152, что я, определённо, не смогу лучше описать.

Моего вступительного экзамена я не помню, но так как я остался в корпусе, значит, я его выдержал. Меня приняли во второй класс XXIV выпуска. Всех нас, новичков, отправили в лазарет на медицинский осмотр, которого я тоже не помню, но могу его описать со слов моего старшего товарища, кадета XX выпуска, Валентина Ермакова¹.

— Я помню тебя потому, что доктор тебя долго осматривал и выслушивал, — рассказал мне Валя. — У тебя была большая голова на худом теле с большим животом и кривыми ногами, ты был похож на рахита.

Это его дословное выражение. Валя был немного грубоват по своему характеру, и таким остался до самой смерти. Однако из всех моих физических недостатков, так красочно описанных Валея, через пару лет ничего не осталось, так как я уже в третьем классе стал одним из лучших гимнастов выпуска, но остались немного выгнутые «кавалерийские» ноги, как выражался отец.

После лазарета следовала стрижка наших штатских шевелюр.

Перед табуреткой, в коридоре, около которой стоял с нулевой машинкой Юра Козорез, образовалась очередь пугливых

¹ Теперь уже покойный, Валя был старшим сыном известного доктора Ермакова и, помогая корпусному доктору Алферову, уже в те годы готовился стать доктором.

«новичков»², которые не решались подставить свою буйную голову «Козорезу». Летом отец меня стриг коротко, но не под «ноль», и я, рассчитывая на старое знакомство с Юрой, сел первым. Юра особенно старался, крихтел и пыхтел, однако машинка, несмотря на то, что он её несколько раз смазывал маслом из лампадки, всё равно заедала.

Одно из моих ярких воспоминаний о поступлении в корпус, которое осталось в памяти на всю жизнь, связано с выдачей формы.

Наш цейхгауз³ находился на площадке второго этажа, между 2-й и 3-й ротами. Полным хозяином в этом громадном помещении с рядами полок, на которых аккуратно лежали сложенные формы, царил каптенармус, вахмистр Порфирий Кондратьевич Вербицкий. Несмотря на обильную седину в его длинных усах, из-под заломленной набок донской казачьей фуражки с красным околышем лихо выглядывал его чёрный вьющийся чуб. Над левым карманом форменной гимнастёрки, затянутой тонким кавказским поясом с серебряными накладками, красовался солдатский Георгиевский крест, а в начищенные до блеска сапоги были заправлены тёмно-синие, с красными лампасами, шаровары. От вахмистра пахло табаком, чесноком и иногда водкой.

Нам выдали две формы: повседневную, которую мы сразу одевали, и парадную, которая после длительной примерки, с отметками, где укоротить или удлинить, оставалась в цейхгаузе. Мы уже знали, что её будут выдавать по праздникам. Повседневная форма состояла из гимнастёрки прочного полотна зеленовато-защитного цвета, с высоким воротником на пуговицах, которая носилась с простым широким кожаным поясом и обыкновенной пряжкой, чёрных брюк и чёрных ботинок. Длинные брюки я надел впервые, и мне показалось, что я стал старше. Парадная гимнастёрка, того же защитного цвета, с гербовыми медными пуговицами, была сшита из толстого шерстяного сукна. Она носилась с широким кожаным поясом чёрного цвета, который застёгивался медной литой бляхой⁴ с изображением Российского Герба в «сиянии». Летом суконные гимнастёрки заменялись полотняными белыми, того же покроя. Кадеты их называли «рубашками». Однобортные шинели были того же цвета, что и парадные гимнастёрки, и чёрные, с малиновым околышем и

² Вновь поступивший в корпус.

³ Уцелевшее со времён Петра (в военном лексиконе) обрусевшее немецкое название.

⁴ Парадный пояс.

солдатской кокардой, фуражки. (Первая Рота Его Высочества носила чёрные шинели с одним рядом медных гербовых пуговиц и белые перчатки — предмет зависти и мечтаний всех младших кадет.)

Вахмистр долго примерял на мне фуражку — то маленькая, то лежит на ушах, а когда выбрал, отогнул внутреннюю подкладку и написал мой номер. Нижнее бельё состояло из белой полотняной рубашки без воротника, кальсон и портянок⁵. Господин вахмистр показал, как их заворачивать, чтобы ноге было удобно. Это искусство требовало длительной практики, и я осилил всю эту премудрость только после мучительного испытания «моих двоих» несколькими волдырями.

Предупредив, что менять выданные портянки и носовые платки нужно приходиться самому (если то или другое выпачкается), вахмистр, наконец, протянул мне тёмно-малиновые погоны (с жёлтым трафаретным вензелем из двух «К» под короной) и показал, как их закреплять в тренчиках на плечах. На всю жизнь запомнил эти слова вахмистра: «Теперь, в погонах, ты — настоящий кадет».

Когда кто-то из старших кадет показал мне, как двумя большими пальцами вдоль пояса расправляются все до единой складочки, я впервые почувствовал на плечах лёгкую тяжесть погон и машинально их приподнял. Даже сейчас, на старости лет, ловлю себя на том, что делаю это движение, вошедшее в привычку.

Всех — и новичков, и приехавших держать переэкзаменовку — разместили в спальне Роты Его Высочества, на втором этаже, так как наши помещения ещё не были готовы. Мне попалась кровать, на «цигеле»⁶ которой была написана фамилия «Ламзаки»⁷.

В течение нескольких дней, до съезда всех кадет к началу учебного года, кадеты старших классов и офицеры-воспитатели взяли нас в строевое обучение. По всему Полоцкому коридору разносились чёткие команды:

— Направо! Налево! Кругом!

И тут же следовали объяснения:

— Налево поворачиваются в два приёма: на каблуке левой ноги и на носке правой — раз, и приставляем правую ногу — два.

⁵ Вместо чулок — прямоугольный кусок полотна, которым умело заворачивали ноги.

⁶ В голове кровати, на деревянном столбике — жестяная малиновая табличка с фамилией кадеты, написанная жёлтой краской.

⁷ Мог ли я тогда предвидеть, что Юра, доктор Ламзаки, будет мне резать грыжу?

— Смирно! Лермонтов, ты что, не знаешь, где у тебя правая, а где левая сторона? Какой ты рукой крестишься?

Показываю правую руку.

— Так чего крутишься в обе стороны? Стой смирно, убери живот, набери полную грудь воздуха — выпусти воздух, а грудь оставь на месте, подбери подбородок. Чего насупился? Кадет должен смотреть весело, но без улыбки! Понял?!

Сколько сотен раз я всё это слышал в течение двух-трёх последующих месяцев, пока не выдержал строевого экзамена, на котором нужно было показать не только то, что научился строевым приёмам, но и что знаешь правильные ответы на уйму всяких вопросов. Например, на вопрос «Кто ты?» отвечать следовало: «Я — кадет Первого Русского Великого Князя Константина Константиновича Кадетского Корпуса, Михаил Лермонтов». Это звучало, как начало присяги.

Я не помню точно, сколько «новичков» поступило в корпус в этом году (сентябрь, 1937 год), но в мой второй класс поступили: Курицкий Дмитрий, Выдыхан Николай, Балашев-Самарский Николай и я. Кто-то обратил внимание на то, что мы похожи, и это сходство в некоторых случаях нам помогало.

Список XXIV выпуска (1937 год, II класс):

1. Алексеев Роман — «Ромка» или «Адмирал» (по дедушке)
2. Алферов Сергей — «Жила»
3. Артонов Сергей — «Артошка-картошка»
4. Балашев-Самарский Николай
5. Бараненко Александр — «Культяпка» (убыл из III класса)
6. Боголюбов Николай — «Ника», «Сёмка» (по отцу)
7. Де Бодe Константин — «Кот»
8. Бурлаков Пётр — «Пера»
9. Верчик Александр
10. Выдыхан Николай — «Выдыханчик»
11. Герлах Георгий (умер в 1939 году)
12. Горлов Степан
13. Граф Георгий — «Блёс» (по химику Фетингу, блондину)
14. Григорьев Юрий — «Гришка»
15. Демьянюк Евгений
16. Капуста Иван — «Качан»
17. Козорез Георгий — «Козуля»

18. Компаниец Николай — «Ниц»
19. Копач (убыл из III класса)
20. Криницкий Александр
21. Курицкий Дмитрий
22. Кутепов Павел — «Пи-пи»
23. Кучинов Пётр — «Князь»
24. Леонтьев Алексей — «Лёшка»
25. Лермонтов Михаил — «Гулька»
26. Лесниченко Николай — «Лёс»
27. Мингин Валерий — «Луна»
28. Мирошников Евгений
29. Нестеренко Николай — «Нос»
30. Орловский Владимир — «Орлик»
31. Николаев Дмитрий
32. Парижский Николай — «Кока»
33. Полубелов Виктор
34. Рачковский-Шевченко Николай — «Рачко»
35. Сараев Николай
36. Скрылов Валерий
37. Скуратович Георгий — «Голова-ящик»
38. Скрыбин Владимир (приходящий)
39. Спокойский-Францевич Евгений — «Спайк»
40. Стекольников Венедикт — «Баран»
41. Табуч-Ющенко Михаил — «Табуч»
42. Ульяновцев Николай — «Урлик»
43. Фау Павел — «Пи-пи»
44. Хилинский Сергей — «Цыган», «Скаут»
45. Хоренко Игорь — «Китаец»
46. Шереметов Николай — «Шеря» (приходящий)
47. Шехавцов Анатолий — «Зёська»
48. Шостаковский Максим — «Макс» и «Косой»
49. Шпора Александр — «Клинац»
50. Янушевский Александр — «Янош»

В 1937 году в I класс поступил XXV выпуск, кончал корпус XVIII выпуск. В корпусе было две роты: VI, VII и VIII классы в 1-й роте, и I, II, IV и V классы во 2-й роте (III класса в этом году не было). Фельдфебелем 2-й роты был назначен кадет VIII класса, XVIII выпуска, Николай Каменев, а помощниками офицеров-воспитателей

(или «дядьками»): в I классе — Роман Образ («Пека») и Алексей Попов («Слон»), во II классе — Валентин Мантулин («Нос») и Олег Лобов («Шарик»), в IV классе — Алексей Нещерет («Дунька») и в V классе — Всеволод Высоцкий.

Когда съехались все кадеты, и мой класс был в полном сборе, старший кадет класса Константин де Боде («Кот») оставил за дверью всех нас, «новичков»: Колю Балашева-Самарского, Колю Выдыхана, Диму Курицкого и меня, и приказал ждать, пока он не позовет. Впускали нас поодиночке. За дверью слышался шум, а потом всё затихало. Когда подошла моя очередь, и я вошёл в класс, меня на секунду остановили пристальные взгляды: все смотрели на меня, чего-то ожидая. В этот момент меня чуть не сбил с ног удар по шее. Поворачиваюсь: плотный (чуть выше меня) кадет стоит за дверью и улыбается в ожидании моей реакции. Я сильно его толкнул в грудь, так, что он, попятившись, сел в мусорный ящик. В классе послышались одобрительные возгласы, и я сел за свою парту.

(Вставка. Я забыл, от кого я тогда получил по шее. В течение всех этих лет многие подробности изгладились из памяти, и только сейчас, в семидесятых годах, когда я встретил своих одноклассников на съезде в Санта Розе, в Калифорнии, вспоминая нашу жизнь в кадетском корпусе, я рассказал этот случай. Миша Табуч-Ющенко признался, что это был он.

Моим соседом (по предпоследней парте в среднем ряду) оказался Женя Демьянюк. Позади нас сидели Пётр Кучинов («Князь») и Николай Боголюбов («Ника»), сын преподавателя природоведения Семёна Николаевича Боголюбова. Впереди была парта Алёши Леонтьева («Лёшка») и, кажется, Александра Верчика, перед нами — Павлик Кутепов с Павлом Фау («Два пи-пи»). И, наконец, на первой парте в нашем ряду сидели Константин де Боде («Кот») и Пётр Бурлаков («Пера»).

Так хочется припомнить, кто где сидел, но, к сожалению, память стёрла почти все подробности. Вижу почти весь класс: четыре ряда парт и только одинаково выстриженные головы. Воспитатели обыкновенно не меняли распорядка в классах, и многие кадеты просидели все годы с одним и тем же соседом. Как мне недавно рассказал о. Георгий Григорьев (Юра Григорьев — «Гришка»), он все годы просидел на пятой парте в левом ряду с Колей Компанийцем («Ницом»).

Я знаю, что в этом году состоялось ежегодное соревнование по пению. Что мы пели, не помню, но взяли приз. Уж больно давно это было. Каждая рота, а их в этом году было две, пела отдельно, на свой ротный приз. В 1-й Роте Его Высочества — Российский Императорский герб с миноносца «Могучий» на деревянном полированном щите; во 2-й роте — чугунная фигурка стрелка, стреляющего с колена, которая называлась «Серёжа Бухвостов», в честь первого русского солдата.

Также помню, что наш преподаватель пения Михаил Степанович Собченко на одном из первых уроков пробовал наши голоса. Он пришёл в класс со скрипкой, и каждый из нас должен был тянуть разные ноты «а...». Михаил Степанович у себя в тетрадке что-то отмечал. Не успел я протянуть первое «а...», как он посадил меня на место. Так я на всю жизнь остался «козлетоном», хотя очень люблю петь. Тех, кто оказался со слухом и голосом, приняли в церковный хор, а нашим классным регентом стал Юра Григорьев («Гришка»).

Из 50-ти кадет выпуска я знал своих скоплянцев и раньше: Юру Козореза («Козуля»), Колю Компанийца («Ница»), Алёшу Леонтьева («Лёшка»), Колю Сараева, Сашку Шпору и Мишу Табуч-Ющенко («Табуч»). Также жил в Скопле и Шура Ратнов («Жук»), вице-унтер-офицер, знамёнщик XIX выпуска.

* * *

Перед тем как писать дальше, я должен объяснить значение всех этих слов в кавычках, для тех непосвященных, кому случайно попадет в руки моя «писанина».

Прозвища, которые я пишу в кавычках, давались в корпусе почти что всем, начиная от директора генерал-майора А. Г. Попова («Генпоп», он так расписывался в журналах) и кончая кухаркой («Милка»), которая, когда мы возвращались из столовой, подсовывала нам коржики или куски вкусного белого хлеба. Большинство прозвищ появлялось в первых классах, и, конечно, не ко всем они пристали, но за многими сохранились на всю жизнь. Моё прозвище «Гулька»⁸ закрепилось за мной с первых дней в корпусе, так как пять моих одноклассников были, как и я, из Скопля, и знали меня и моё прозвище ещё с детства. До сих пор, слава Богу, прошло уже

⁸ Ещё в младенчестве, когда мать со мной на руках кормила наших голубей, подзывая их: «гуль, гуль, гуль», первым мне понятным словом было слово «гуль...» Так я и стал «Гуля», «Гулька».

больше шестидесяти лет, мои одноклассники, да и старшие кадеты, называют меня по прозвищу «Гулька», и это нас сближает, духовно роднит и напоминает, хотя это и лишнее, о принадлежности к одной дружной кадетской семье.

Недавно умер «Шарик» Лобов. Я из некролога узнал, что его звали Олегом. Только в семидесятых годах, из газетной заметки с фотографией о выступлении «Русского Академического хора» под управлением Владимира Руденко, узнал, что нашего «Гуся» зовут Владимиром. Я могу перечислить больше половины моего класса, тех кадет, чьи имена я не знал в тот корпусной период, и до сих пор запомнились только прозвища и фамилии (ведь не у всех были прозвища). Сейчас, заглянув в нашу последнюю «Седьмую Памятку», я могу восстановить их имена, но они мне всё равно чужды.

Прозвища употреблялись, главным образом, среди одноклассников и в обращении к младшим кадетам. К старшим обращались по имени — по традиции и из уважения к ним. Да и по шее можно было получить. Прозвища обидного характера редко слышались. Они не прививались, потому что, во-первых, из-за них происходили драки, а во-вторых, считалось не по-товарищески оскорблять своего брата-кадета.

В моё время офицеров-воспитателей называли «зверьми». Родилось это слово ещё в суровую эпоху царствования Императора Николая I, когда «за битого двух небитых давали». Тогда, в армии, по регламенту, существовали телесные наказания, которые считались лучшим методом воспитания, и тогда же это наименование закрепилось за корпусным начальством.

«Дядьки»

«Дядьки», так мы называли наших старших кадет, назначенных к нам директором корпуса. Официальное название звучало сложно, хотя и внушительно: помощники офицеров—воспитателей. (По словарю Даля: 1 — приставленный для ухода или для надзора за ребёнком; 2 — приставленный к рекрутам старый солдат; 3 — пестун.)

По рассказам старших выпусков, этот порядок воспитания младших кадет был привезен из России, но из-за отсутствия старых опытных солдат, которые исполняли эту должность, в наших корпусах назначали старших кадет, для поддержания порядка в младших классах, в помощь офицерам-воспитателям. Все зарубежные корпуса продолжали эту традицию. (Пишу: традицию, так как не уверен,

было ли назначение «дядек» оговорено военным уставом. В то же время, из второго пункта в словаре Даля видно, что такая должность в русской армии существовала.)

«Дядьками» назначали кадет VII или VIII классов, которые хорошо учились, имея, в среднем, не меньше четырёх баллов как по учению, так и по поведению. Большинство из них кончало корпус вице-унтер-офицерами.

В этом 1937—1938 учебном году «дядьки» жили с нами в отдельной маленькой комнате, и с утреннего подъёма, в шесть часов, и до укладки в девять часов, за исключением своих уроков, были с нами. Каждый класс имел своего офицера-воспитателя, но воспитывали нас и внедряли дух настоящих кадет — старшие кадеты, наши «дядьки».

Начиная от простой военной выправки, которая не всем сразу давалась на строевых занятиях, они внушали нам своим примером, что строй — святое место, учили нас, как надо вести себя в строю, посвящали нас в тайны традиций и заповедей товарищества. Были справедливыми судьями наших ссор, драк и проказ, безжалостно наказывали за недопустимые в кадетской среде проступки, и кончали, поздно ночью, перед тем как самим уходить на покой, обходом спальни, бережно укрывая своих питомцев, разбросавших во сне одеяла. В младших классах мы на них «молились». Это были не только старшие кадеты, но — братья, которым мы старались подражать, с которыми мы делились самыми сокровенными тайнами, и знали, что «зверям»⁹ они нас не выдадут. О да, они нас наказывали, ведь из жёлтоклювых птенцов в два-три года надо было создать настоящих кадет на всю жизнь, — и им это удавалось. Положив руку на сердце, каждый из нас должен признать, что все те подзатыльники, наряды¹⁰ и стояния на штрафу¹¹, и самое главное — товарищеское отношение, дружеское покровительство, взаимное уважение с добровольным подчинением младшего старшему, определённо помогли нам стать исправными кадетами, сохранить на всю жизнь кадетский дух и всей душой полюбить родной корпус. Рукоприкладства и «цука»¹² официально в нашем корпусе уже давно не было.

Я лично обязан многим моим «дядькам». В 1937 году наш «дядька» Валя Мантулин, вместо того чтобы ставить меня на штраф или

⁹ Весь персонал корпуса, за исключением священника.

¹⁰ Дежурство вне очереди.

¹¹ Стоять смиренно в течение положенного времени.

¹² Форма наказания, существовавшая в некоторых кадетских корпусах в России.

давать наряды, которых у меня и так хватало, запирали меня в классную комнату.

— Ты, Лермонтов, пиши стихи!

Это, кажется, было первый раз, когда я пожалел, что у меня громкая фамилия, и, возможно, тогда понял, почему мой отец часто повторял: «**Помни, кто ты**».

Валя «Нос» (прозванный за свой немного удлинённый гоголевский нос, как он сам его назвал), сдержанный, точный и аккуратный, не особенно любил нас наказывать, а находил «полезные» наказания. Как-то раз, играя в отбойку¹³, кто-то сильно загнул матом. («Литературный» русский язык у нас был в обиходе, но «дядьки» постоянно нас сдерживали.) Валя его вызвал, но не поставил на штраф и не дал нарядов, а послал в роту почистить ботинки. Каждый раз, когда он возвращался, Валя его отсылал обратно, находя, что ботинки недостаточно блестят. Так он (мне кажется, что это был Володя Орловский («Орлик») до конца прогулки и не успел поиграть в отбойку, но зато перестал ругаться и ходил в самых ярко начищенных ботинках. Своими длинными разносами Валя доводил нас до точки. Как схватит «за пуговицу» — держись! Не отпустит, пока не убедится, что его наставление попало в эту точку. Прошло много лет, и из этих разносов, как в граните высеченные, остались на всю жизнь кадетские законы дружбы и заповеди товарищества.

Я помню, как я себя чувствовал одиноким и обиженным, сидя один в классе. Мне всегда казалось, что меня наказали не за что. **Почему я?** И где-то там, в глубине души, накапливалась обида до тех пор, пока я не осознавал своей вины. Как мне было тяжело придумывать рифмы. Сначала я просиживал часами и потел, исписывая по несколько листов черновой тетрадки, пока не получалось терпимое четырёхстишие. Со временем я наловчился, и рифмы всё чаще и чаще попадали на своё место. Когда я начал в пять минут кончать своё наказание, Валя перестал меня запирали в класс, а ставил на штраф, как всех, где я, уже по собственной воле, сочинял стихи. Мне понравилось!

Наказание, возможно, навеянное моей фамилией, по воле строгого и изобретательного «дядьки», возбудило во мне интерес к русской поэзии и литературе. Совершенно неожиданно, но постепенно, я почувствовал, что во мне открылся новый чудесный мир поэзии, в который мне захотелось окунуться с головой и посвятить ему всю

¹³ Волейбол.

свою жизнь. Конечно, моей главной мечтой осталось стать военным, но разве нельзя соединить эти две мечты воедино? А ведь Михаил Юрьевич Лермонтов смог! «Мечты... мечты... где ваша сладость?»

Своему физическому развитию я должен быть благодарен «дядьке» Олегу Лобову («Шарику»). (Он был одним из лучших гимнастов выпуска.)

На вечерней укладке, после того, как мы умылись, «дядьки» заставляли каждого подтягиваться на гимнастической лестнице, которая стояла в ротном коридоре. После того как весь класс проходил, «Шарик» оставлял меня и Павлушу Кутепова на добавочную гимнастику. Я не знаю, почему он выбрал именно нас, но предполагаю, что наш совершенно противоположный вид — я худой, а он толстый — имел на это некоторое влияние, или обе громких фамилии, но, тем не менее, мучил он нас долго. Все уже лежали в кроватях, когда «Шарик» нас отпускал. Я потом продолжал, в течение всего пребывания в корпусе, заниматься гимнастикой и стал одним из лучших гимнастов своего выпуска. Я Олега действительно запомнил «шариком» — круглым, мягким, но сильным, когда он легко меня поднимал подтягиваться до подбородка на лестнице. На Корпусной праздник, когда рекордная группа в пятнадцать лучших гимнастов (XVIII, XIX и XX выпусков) выступала на параллельных брусьях, мне больше всего понравилось выступление «Шарика» (несмотря на то, что все хвалили Костю Курицкого), которое отличалось мягкостью приёмов и плавностью махов, создавая впечатление лёгкости тяжёлого упражнения. Потом, уже в старших классах, я старался все эти махи, скобки и стойки исполнять так, как «Шарик».

Алёша Неццет («Дунька»), высокий, тонкий красавец-брюнет, с только что начинающимися пробиваться усиками, научил меня выдерживать щекотку. Это требует некоторого пояснения.

Я не был особенно щекотливым. Почему-то «дядьки» и старшие кадеты считали своим долгом, проходя мимо, обязательно пройтись кулаком по моим рёбрам. Я сгибался, и им это давало повод меня «разнести», прочитав целую лекцию о выправке кадета. (Мне доставалось чаще, чем другим, возможно, опять была виновата моя фамилия.) Я до сих пор помню, как, проходя по коридору Роты Его Высочества (за химическими или физическими приборами), Жедилягин Георгий (XIX выпуска) своим костлявым кулаком пересчитывал мне рёбра. Это было не только щекотно, но и больно. (И не только он, его я запомнил только потому, что у него был действительно костлявый кулак.)

Как-то на вечерней укладке мне передали, чтобы я явился в комнатку «дядек». Это считалось привилегией, так как в их комнату, нам, малышам, вход был строго запрещён. Я не помню всех подробностей, и как это всё произошло. Хорошо помню, что я висел за окном, выходящим на фронт здания, с третьего этажа, держась обеими руками за шею Алёши, который меня одной рукой щекотал, а другой держал за пояс, строго приговаривая:

— Держись, держись, а то упадёшь!

Конечно, мне было щекотно, но я терпел, и когда мои пальцы вокруг шеи Алёши начали расходиться, и я мог упасть, он с «Шариком» Лобовым меня подхватил и втащил в окно.

Перед тем как совершенно раскрошились отдельные листы из моей тетрадки со стихами, уцелевшие после войны, я успел их переписать и сохранить, а некоторые сохранились в памяти.

Скучно в классе мне сидеть
И писать стихи.
Это может надоестъ,
Даже можно и вспотеть.

Расцвела акация...
Валькина нотация:
Длинная предлинная,
Полная шипов.

В парте есть чернильница,
Грязная, как мыльница,
Постоянная виновница
Неожиданных громадных клякс.

Нет, не «Коча» Кучерявый,
А Зиолковский «Кочияш»
Грел, гонял и очень «гнявил»
В строевых занятиях нас.

На дворе зима,
На столе тетрадка.
На душе тоска,
В сердце институтка.

Длинный, добрый и не строг
«Слон» полковник Прибылович.
Правда, сыпется песок,
Но «ловчил» он ловко ловит.

Посмотри! Снег выпал,
Ночью, видно, сыпал.
Утром солнышко пригрело,
Но растаять не успел он.

«Ать - а - и - иире» —
Голос тонкий и паршивый...
Нету «зверя» хуже в мире,
Чем «Иван» — отец фальшивый.

На дворе воробей замёрз,
Я его домой принёс,
Уложил в коробочку,
Схоронил под ёлочку.

На окне повис паук,
В паутине муха.
Скоро будет ей какук —
Пауку житуха.

(1937—1938)

После почти неограниченной свободы прошлого года в гимназии, попав в строго распределённый порядок не только дня и ночи, но и в совершенно новый и ещё непонятный круг своих одноклассников и старших кадет, мне было очень тяжело разобраться и освоиться во всех этих новых понятиях, чувствах и переживаниях. Оказалось, что я, Михаил Лермонтов, полусирота, не один, у меня целый класс друзей, нет, не друзей, а целый выпуск, целая рота, целый кор-

пус товарищей. А что такое товарищ? Разве это не друг? Какая разница между другом и товарищем? Помог мне в этом разобраться некто иной, а «дядька».

Наши офицеры-воспитатели беседовали с нами, но это скорее были строгие нравоучения, касающиеся нашего учения и поведения. Иногда, в исключительных случаях, мы с ними могли поговорить, как с «отцом родным», но душу-то свою отводили с «дядьками», которые нас понимали гораздо лучше, чем любой «зверь», — ведь они не так давно были в таком же положении.

Кадеты 1-й Роты Его Высочества всегда отличались умением носить форму. Их аккуратность, выправка и поведение служило для нас, малышей, примером, но «дядьки» выделялись даже среди них.

Дима Иванов («Ивась»), старший кадет VIII класса, XIX выпуска, был назначен к нам в первой половине 1938 года. В свободное время на заднем дворе или на «холмах», куда мы ходили гулять, вокруг Димы всегда собиралась куча кадет, задавая всевозможные вопросы, неизменно начинавшиеся с «а почему?» Высокий блондин (тогда он, конечно, был выше меня) с добрыми светло-голубыми глазами, всегда в опрятной гимнастёрке с заправленными назад складками и тщательно выглаженными брюками «клёш» (у них, в комнатке «дядек», был утюг), казался нам олицетворением «лихача», «тоняги»¹⁴. Покорял он нас своим невозмутимым спокойствием (даже в момент наших самых непростительных проказ) и добрым, ласковым обращением. Дима заполнил тот пробел «теплоты», которой в нашей сугубо военной жизни не хватало, — во всяком случае, мне не хватало. В знак нашей любви и уважения, после его производства в вице-унтер-офицеры на праздник Роты Его Высочества, когда он пришёл к нам в роту в «лычках»¹⁵, мы его на руках «качали»¹⁶. Нам, малышам, конечно, было тяжело, однако, подбрасывая его к потолку, мы его не выпустили, хотя он этого боялся (как мне сам Дима недавно об этом сообщил).

Несмотря на то, что моими любимыми играми были отбойка (название «волейбол» пришло значительно позже), которой я увлекался на заднем дворе, и запрещённый футбол на «холмах», желание посидеть и поговорить с Димой было сильнее. Его живые рассказы из кадетской жизни старых корпусов (Донского, Крымского и наше-

¹⁴ Лихой, тонный.

¹⁵ Золотые нашивки на погонах.

¹⁶ Подбрасывать вверх на руках.

го), которые так наглядно подчёркивали корпусные общепринятые правила, по которым мы жили. И наши, передаваемые из выпуска в выпуск кадетские традиции, так увлекали и выделяли нас в одну обособленную — кадетскую семью, что с тех пор у меня стало много друзей, однако товарищами остались на всю жизнь только кадеты — *моя семья*.

«Дядьки» моих первых классов заложили тот фундамент, на котором потом, в течение четырёх лет моего пребывания в стенах родного корпуса, последующие «дядьки»: Владимир Гавлицкий («Маца»), Валерий Завальевский («Зайка»), Павел Наумов («Пая»), Александр Думбадзе («Шиша»), Алексей Иордан («Клык»), Виктор Степанов («Паровоз») и Степан Демченко, с той же настойчивостью продолжали создавать кадета, со всеми вытекающими из этого гордого звания последствиями.

Не только корпус, офицеры-воспитатели и преподаватели оставили неизгладимый след в нашей юной душе, но и старшие кадеты (наши «дядьки») предопределили наш моральный и духовный облик.

Сейчас, когда я это пишу (январь 1998 года), многих уже нет в живых, но те, с которыми я ещё встречаюсь на наших собраниях, съездах или по делам, до сих пор мне кажутся теми бравыми старшими кадетами, которых я запомнил шестьдесят лет тому назад. И, несмотря на разницу лет, которая сейчас сравнялась, наши отношения остались теми же товарищескими отношениями, полными взаимного уважения.

Серебром усеяны вихры,
Лишь, как в старь глаза горят задором,
И коль в эти загляну глаза,
На плечах мне чудятся погоны,
Молодые слышу голоса.

(Из стихотворения «Кадету» Н. Воробьёва, кадета Донского корпуса.)

Кем бы я стал, если бы у меня не были такие «дядьки»?

Судьба? Возможно, но не всё судьба. Счастье? Нет, не думаю. Счастье вроде женщины: «Коль полюбит вдруг сначала, так разлюбит под конец».

От первого сигнала до отбоя

Наш обычный день начинался с первого сигнала на побудку в 5:45 утра. Длинный и тягучий, — мы его ненавидели. Да ещё попадётся сонный горнист, да начнёт «козлить»¹⁷ — сон сразу пропадает. Но всё равно закрывали подушкой голову и старались ещё поспать до второго сигнала на подъём в 6:00. Ко второму сигналу горнист уже успевал проснуться и трубил бодро и весело, хочешь не хочешь, а вставать надо.

«Дядьки», уже аккуратно одетые, ходили по спальне и поднимали проспавших сигнал и любителей поспать. «Ромку» Алексеева всегда будили криком: «Буря на море, буря на море!», у него дед был адмирал.

В любое время года мы должны были в одних кальсонах и ботинках на босу ногу бежать в умывалку мыться. Время было рассчитано не по минутам, а по секундам: почистить зубы, помыть с мылом, холодной водой, лицо, шею, уши, ноги, и до пояса освежиться холодной водой. Горячей воды не было. (Раз в две недели мы ходили в баню, где наш банщик «Дид» (Дидько) растапливал печи и грел воду, и мы мылись и парились.)

При входе в спальню стоял «дядька», вылавливая сухих, немывшихся «ловчил»¹⁸. Таких «ловчил», в особенности в зимнее время, находилось много, но были и любители, которые растирались холодной водой, и их называли «обливцы». Большинству же не хотелось обливаться холодной водой, бежать по холодному коридору в спальню, где печка к утру уже перегорала. Я сам «ловчил», но после того, как кто-то из «дядек» облил меня с головы до ног холодной водой, и мне мокрым пришлось бежать к вахмистру в цейхгауз за сухими кальсонами, я решил, что мыться холодной водой гораздо легче, чем обмануть «дядьку», а с годами это вошло в привычку. (За всё моё пребывание в корпусе я никакими кашлями, простудами не болел, даже моя малярия оставила меня в покое!)

Вернувшись в спальню, надо было быстро и аккуратно одеться, застелить наполовину кровать (оставляли проветриваться, летом открывали окна, а зимой форточку) и построиться в коридоре на утреннюю гимнастику. Тут мерзляки могли разогреться вольными

¹⁷ Не в тон играть или петь (без слуха и голоса).

¹⁸ Ловчить — ловчила – словчить. Избежать, незаметно обойти, нарушить правило или порядок.

упражнениями, приседанием и бегом на месте, а в хорошую погоду — бегом на дворе.

После гимнастики фельдфебель выстраивал роту по классам на молитву. «Дядьки» производили осмотр своих классов. Опрятность и чистота одежды тщательно проверялась, начиная с погон и до ботинок. Опытный глаз «дядьки» замечал малейшую неисправность: незастёгнутая или оторванная пуговица, складки на пузе, неаккуратно заправленные портянки и недостаточно блестящие ботинки. Проверяли шею, уши и руки. «Шея грязная, в ушах хоть огород разводи, а под ногтями пахать можно» — любимые разносы «дядек». Попавшиеся отправлялись мыться, начищать ботинки и «пахать под ногтями», и надо было торопиться, так как опоздавших в столовую сажали на левый фланг, где можно было остаться и без хлеба, и без чая.

После осмотра «дядьки» становились на правый фланг роты. Из дежурки¹⁹ выходил новый дежурный офицер-воспитатель, который на последующие 24 часа постоянно находился в роте, и здоровался с кадетами. По команде «На молитву» старший церковник²⁰ читал «Царю Небесный...» После молитвы строем спускались на первый этаж в столовую на утренний чай. Если войти в парадную дверь и пройти вестибюль, столовая 2-й (а потом и 3-й) роты находилась с правой стороны, во Владикавказском коридоре, а столовая 1-й роты — с левой стороны, в Полтавском коридоре.

Стол и скамейки были расставлены перпендикулярно к стенке с окнами, выходящими на задний двор. В дальнем углу находилась икона-складень. Посередине — икона св. Николая Чудотворца, слева — св. Кузьмы Чудотворца и справа — св. великомученицы Екатерины. Все иконы — под золотыми ризами. (Икона-складень — Сибирского кадетского корпуса.)

За каждым столом сидели 10 кадет: пять — с одной стороны и пять — с другой. За первым столом, у иконы, в голове стола сидел офицер-воспитатель, затем «дядьки», и за остальными столами — кадеты старшего в роте выпуска. Все поворачивались к иконе, и опять старший церковник читал «Очи всех на Тя Господи уповают...» Когда садились, старший кадет стола первым брал кусок белого хлеба (обыкновенно горбушку), а остальное разбирали мы, стараясь схватить кусок побольше. Если на подносе попадалась вторая

¹⁹ Комната дежурных офицеров—воспитателей.

²⁰ Прислуживающий в церкви.

горбушка, то тогда весь хлеб разыгрывали по способу «кому?» Отвернувшийся, не подглядывая, называл чьё-нибудь имя, и тому доставался указанный ломоть. Обычно везло Женьке Демьянюку или Павлику Кутепову. Женька съедал горбушку мгновенно, а Павлик, толстяк и неженка, ел её медленно, сначала выщипывая мякиш, а потом, отламывая мелкими кусочками корочку, медленно отправлял их в рот. Я почти всегда сидел рядом с ним, и не только мне, но всем нам казалось, что он нас дразнит. Хлеб был очень вкусный. Верхняя выпеченная корочка хрустела, а мякиш так замечательно пах, что иногда жаль было её есть. Чай умеренно сладкий, но горячий, — от него зимой грелись, а летом потели.

Я долго не мог привыкнуть к тому, чтобы, не отвлекаясь и не разговаривая, быстро съесть всё, что было подано, и многое у меня оставалось на столе. По команде «Встать! На молитву» есть было уже нельзя. Читалась молитва «Благодарим Тя Христе, Боже наш...», и рота строем поднималась к себе в классы.

В 7 часов утра проходил приём в лазарет, который большую часть года пустовал. Настоящих больных почти не было. Изредка попадал туда действительно простудившийся или умелый «ловчила». Чего мы только не придумывали перед экзаменами или письменными работами, чтобы попасть в лазарет хотя бы на день. Натирали докрасна подмышки, чтобы поднять температуру; полоскали горло солью, чтобы оно покраснело, и жаловались, что оно болит; глотали карандашный грифель, который, якобы, поднимал температуру; самый последний, с испокон веков испытанный приём, который обеспечивал минимум половину дня пребывания в лазарете, — наедались сырой картошкой. Доктору В. И. Алферову все эти ухищрения были давно известны, и он встречал «ловчил» во всеоружии. На столике в амбулатории уже стояла замасленная бутылка касторки, флакон с йодом, коробка аспирина, а с крючка угрожающе свисала клизма. Перед тем как измерить температуру мудрецу, усердно натёршему себе подмышки, доктор неожиданно спрашивал: «А куда тебе вставить термометр?» Пойманный врасплох «ловчила» начинал заикаться, и, получив от сестры милосердия Доминики Самёновны Жолткевич аспирин, возвращался в класс на растерзание строгих преподавателей. По указанию доктора, Доминика Семёновна раздавала соответствующие лекарства (по признакам «внезапных заболеваний»): наевшийся карандашного грифеля получал хорошую порцию касторки; «больное» горло густо мазали йодом, и только

бледный «ловчила», на которого начала действовать сырая картошка, оставался в лазарете на час или два, пока ему не поставят клизму. Это, кажется, был единственный приём, который освобождал «ловчилу» от первого урока, если он был готов перенести невзгоды — как «болезни», так и «лекарства». Не раз бывал у доктора Алферова и я, но всё даром. (На сырую картошку у меня не хватило храбрости.)

В это время кадеты сидели в классах на утренних занятиях. Повторяли уроки, выученные накануне вечером, а некоторые, вроде меня, впервые открывали книжки. В 8 часов, по удару небольшого колокола на лестнице и по звонку, начинались первые четыре урока до обеда. На первом уроке, когда входил преподаватель, дежурный по классу подходил с рапортом: «Господин преподаватель, во втором классе по списку кадет *столько-то*, в лазарете *столько-то* и налицо *столько-то*». Классный церковник читал молитву «Преподобный Господи...» Преподаватель здоровался с классом: «Здравствуйте, кадеты!», и после нашего ответа: «Здравия желаем, господин преподаватель!» командовал: «Сесть!» Рапорт дежурного предшествовал каждому уроку. Переменка между уроками давала нам десять минут «отдохнуть». После сорокаминутного «умственного напряжения» определённо хотелось размяться, и я пулей выскакивал в коридор. Конечно, нам не хватало времени на все затеи и игры, которые мы начинали, но я часто умудрялся своими проказами привлечь внимание офицера-воспитателя в первые же две минуты и угодить на штраф до звонка на следующий урок.

После четвёртого урока опять строем шли на обед. Друг у друга узнавали, что будет на обед, так как только любители знали наизусть всё расписание на целую неделю вперёд, висевшее в коридоре. В этом возрасте мы всегда были голодные, и могли есть когда угодно и сколько угодно, хотя нас довольно хорошо кормили.

Я до сих пор не могу забыть дебrecенские колбаски с тушёной капустой, борщ и «джювеч»²¹ тётки Харитины, её котлеты с макаронами, зразы с луковым соусом и фасоль с томатом в канун Корпусного праздника. Коржики! Разве можно забыть коржики? Коржики и котлеты у нас считались разменной валютой. Конечно, расплачиваться ими за услуги не разрешалось, но честь уплаты долга стояла выше наказания и голода.

За столами почти всегда сидели одни и те же кадеты, и со временем мы тонко изучили вкусы своих товарищей. Когда на обед по-

²¹ Сербское блюдо из свинины с макаронами.

давали зразы с рисом и луковым соусом, я уже после супа начинал громко сморкаться и не особенно прятать запачканный платок от Павлика Кутепова, моего соседа. Когда на его тарелке появлялась зраза, обильно политая серым скользким луковым соусом, он отодвигал тарелку и закрывал рукой рот, а я уплетал две зразы.

Старшими за столами в этом году сидели кадеты XXII выпуска: Толя Взыск или кто-нибудь из братьев Михеевых — Максимилиан («Макс») или Михаил («Мориц»). Они следили за тем, чтобы мы вели себя пристойно, сидели прямо, держали обе руки на столе («Что ты там под столом делаешь рукой?»), не облакачивались на локти; аккуратно ели, держа ложку или вилку в правой руке, и не балаганили. Разговаривать запрещалось («Пока я ем, я глух и нем»).

Иногда, правда, получалось, что «яйца курицу учат».

Я не уверен, но мне кажется, что это был Толя Взыск, который очень шумно «сёрбал» суп, и я, заметив это, тоже начал громко тянуть с ложки суп. Весь стол, догадавшись, в чём дело, последовал моему примеру. На Толю это произвело должное впечатление, и его следующая ложка бесшумно отправилась в рот. Впоследствии, когда Толя сидел за нашим столом, я часто простаивал на штрафу, и считал, что он ко мне придирается, забывая о том, что и у других старших кадет я стоял не меньше, чем у него. Справедливости ради скажу, что когда я был в третьем классе, Толя не только научил меня играть в пинг-понг, но и посвятил во все премудрости этой, тогда ещё новой игры. После обеда мы возвращались в классы на последние два урока.

Наши педагоги умно распределили уроки: после сытного обеда, а особенно после двух зраз, заниматься арифметикой, физикой или химией не имело никакого смысла. Поэтому на послеобеденный период они оставили уроки рисования, пения, гимнастики и гигиены. Я наслаждался, когда было два урока рисования подряд. (Во II классе физики и химии ещё не было, они начинались в III и IV классах.)

С конца последнего урока, после молитвы «Благодарим Тебе, Создателю...» мы были «свободны» до чая в четыре часа. С этого часа до укладки мы находились под полным надзором «дядек». Поэтому я слово «свободны» поставил в кавычки.

В хорошую погоду ходили гулять на «холмы», на «пруды» или в Рудольф-парк. В плохую погоду на некоторое время выходили на задний двор, а остальное время проводили в классах. В этот же период, кто хотел, ходили в разные кружки, которых было уйма, и всех

я даже не перечислю. С первого года я попал, с разрешения М. М. Хрисогонова, нашего преподавателя, в кружок рисования, где пробыл все четыре года, не особенно регулярно его посещая, — надо же было поиграть в отбойку (волейбол) и в футбол.

Перед зданием корпуса находился садик и «треугольник», где гуляла 1-я рота, а дальше простиралось сравнительно ровное поле — бывший аэродром. На этом поле происходили строевые занятия, обыкновенно перед Ротным или Корпусным праздниками. Поле кончалось каштановой аллеей, которая вела из города в Рудольф-парк. Где-то посередине, между корпусом и парком, вдоль аллеи тянулись «холмы». Это были высокие насыпи, когда-то вырытые, как барьеры для стрельбища. Старшие кадеты рассказывали, что там находили свинцовые пули. Перед «холмами» играли в разные игры, а позади — играли в футбол. Играть в футбол строго запрещалось (во избежание серьёзных повреждений и порчи казённых ботинок), а «холмы» частично укрывали нас от офицеров-воспитателей, которые с третьего этажа в бинокль могли за нами наблюдать. Футбольный мяч с выпущенным воздухом проносился под шинелью или под гимнастёркой, конечно, с разрешения «дядьки», и на «холмах» надували его «губным» способом. (Тогда мячи имели внутреннюю камеру, которая часто пробивалась и требовала сложной починки.)

Если продолжить идти дальше по аллее, то мы приходили в Рудольф-парк, за которым протекала пограничная с Румынией речка Нера. По традиции считалось, что на Пасху надо было выкупаться в Нере. Меня это не привлекало, так как я не умел плавать, но всё-таки, когда предоставлялась возможность, заходил в речку и делал вид, что плаваю. Вода, конечно, была ледяная, в особенности, если Пасха была ранняя. Парк — довольно громкое название, так как это был лес с дорожками вдоль речки. Мы расходились группами и играли в «прятки» или в «казаки-разбойники».

В корпус возвращались по аллее, и почти всегда с песнями. Вот, когда я впервые услышал и выучил наш кадетский песенный репертуар. С песней всегда веселей и легче идти. Тем не менее, вернувшись назад в корпус, я ложился на кровать и клал ноги на цигель, чтобы, как меня учили старшие кадеты, кровь отлила от ног.

Цигель — в изголовье кровати была прикреплена деревянная планка в метр высоты, на верхушке которой прибивалась жестяная табличка малинового цвета, с фамилией кадета, написанной жёлтой краской. На крючке под цигелем почти у всех висели иконки.

В 1-й Роте Его Высочества периодически выпускался рукописный кадетский листок, под названием «Цигель», с юмористическим содержанием на злобу дня. Я помню, что в издании «Цигеля» принимали деятельное участие братья Мистуловы: Эльберт и Эльмурза («Мурза»), XXI выпуска. Передавался он тайно (из рук в руки), и я не уверен, видели его «звери» или нет.

После чая оставалось свободных полтора часа, в течение которых происходили сыгровки оркестра, спевки хора и посещение всевозможных кружков. Затем все расходились по классам, и начинались вечерние занятия — приготовление уроков в присутствии офицеров-воспитателей, которые к этому времени приходили в корпус. Вечерние занятия продолжались два урока с переменкой. Для большинства прилежных кадет этого времени вполне хватало, но для таких шалунов, как я, который занимался чем угодно, но не приготовлением уроков, конечно, времени не хватало, и, когда раздавался звонок к ужину, я непременно опаздывал. И опять наряды или штраф.

Некоторые предметы я любил и учил, другие учил только по необходимости. Первый и самый любимый предмет — история. Преподавал её во втором классе М. В. Тычинин («Тыча»), он же преподавал и русский язык. Я его плохо помню, также как и полковника К. Д. Красовского, который был у нас в третьем классе. Очевидно, что именно полковник Красовский заложил во мне первые семена любви к родной истории, которую мне последующие два года преподавал В. П. Курганский.

Второе место занимал русский язык, но не грамматика и синтаксис. Начиная с третьего класса, его преподавала Мария Мечеславовна Кожина («Пакля»). Ох и не любил я её! «Мягко стелила — да жёстко спать». Я только сейчас узнал её имя и отчество, а в кадетские годы она всегда для меня была «Пакля».

Дальше в перечне моих любимых предметов следовали: рисование, которое преподавали М. М. Хрисогонов, а потом Н. И. Александров, и гимнастика, которой руководил полковник П. В. Барышев. К остальным предметам я был равнодушен, — иногда учил, иногда нет. Однако я не любил и подчас просто ненавидел арифметику и немецкий язык.

Арифметику, по учебнику Л. М. Рыбкина, преподавал полковник Даниил Данилович Данилов («Де в кубе»). Он никогда не носил формы, хотя, как я узнал из «Памятки», был полковником. Его сухое, однообразное преподавание и так трудного предмета, и его,

обижающее нас, кадет, обращение: «Вам, госпожа, коров пасти, а не математикой заниматься»²², возможно, настроили против него и, вместе с тем, против всего предмета. Плюс, у меня непонятным образом появилось довольно глупое предубеждение, что я в будущем буду военным и мне математика не нужна.

Немцев я не любил, и поэтому вообще отказался учить немецкий язык, который преподавал В. Н. Кожин («Бульдог»), и, получив семнадцать единиц подряд, этим побив рекорды всех наших корпусов, возненавидел как язык, так и очень доброго и прекрасного преподавателя. (Потом, во время войны, очень жалел, что не учил немецкий язык.)

На вечерних занятиях (на первом уроке) я пытался одолеть арифметику и решения многочисленных задач; грамматические правила и упражнения русского языка, постоянно повторяя слова на букву «ять», которые, хоть убей, не мог запомнить. Учил Закон Божий, чтобы не огорчать батюшку о. Иоанна Федорова, но часто — кое-как. «Князю» Кучинову, который сидел позади меня, приходилось часто мне подсказывать. Он знал Закон Божий лучше многих из нас, хотя и был буддистом. Остальные предметы я и не трогал, надеясь на то, что запомнил всё во время урока. На втором уроке я читал. Иногда — заданное по курсу, но чаще — книги, взятые в библиотеке. Чтением, по-моему, увлекались все у меня в классе. К примеру, мне пришлось долго ждать, пока пришла моя очередь получить «Айвенго». Читали мы запоем — на вечерних занятиях, украдкой под партой на уроках, вместо прогулок, и, «словчив» от церковных служб, в субботу и в воскресенье под кроватями в спальнях. (Чтобы читать по ночам под одеялом, имели мы и электрические фонарики, однако батарейки скоро садились, а новые по нашим ресурсам стоили дорого.)

К концу вечерних занятий в расположении роты опять появлялись «дядьки», и по звонку фельдфебель выстраивал роту на ужин.

В столовой пелись молитвы. Кроме «коржиков»²³, которые все любили, на ужин давали макароны с мясом, картофельное пюре с копчёным салом, рагу, фасоль с томатом и наши знаменитые котлеты, величиной с ладонь, с разным гарниром. Ел я котлеты и после корпуса, так почему же мне кажется, что таких вкусных, сочных, с поджаренной корочкой, котлет, я никогда больше не пробовал?

²² Д. Д. Данилов преподавал математику и в Мариинском Донском институте.

²³ Круглый корж из теста с молотыми шкварками.

По окончании ужина, поротно, в своих коридорах, весь корпус, по сигналу горниста «Сбор», выстраивался на «Зарю». Ротный фельдфебель командует: «Рота становись!.. Равняйся!.. Смирно!.. По порядку номеров рассчитайсь!» Получив число от левофлангового, командует: «Вольно!» и докладывает дежурному офицеру-воспитателю: «Господин полковник, во второй роте в строю *столько* кадет». И становится на правый фланг роты. Офицер-воспитатель читает приказ по корпусу и делает сообщения, если таковые есть. Горнист даёт сигнал «Повестка». Фельдфебель производит поверку, читая фамилии кадет по классам в алфавитном порядке, на что кадеты отвечают «я». За отсутствующих отвечает старший кадет класса: «В лазарете» или «В отпуску». Дальше читался наряд на следующий день: дежурные по классам, дневальные по спальням, дежурный по коридору. Горнист играет «Зарю», ротный запеваля даёт тон «до-ля-фа». Рота поёт «Отче наш...» и «Спаси, Господи...» Церковник читает краткий синодик — «Упокой, Господи, рабов Твоих: Государя Императора Николая Александровича, Наследника Цесаревича и Великого князя Алексея Николаевича, Короля Александра Объединителя, шефа нашего корпуса Великого Князя Константина Константиновича, боярина воина Петра, воина Бориса, новопреставленных (имена тех, кто умер) и всех воинов на поле брани живот свой положивших». Горнист трубит «Отбой». Офицер-воспитатель желает кадетам спокойной ночи, и фельдфебель подаёт последнюю команду: «Разойтись!»

Укладка

В моём выпуске, во втором классе, было 47 кадет, и все спали в одной спальне. Кровати размещались в длину комнаты: по две вместе и две - в изголовье. В ногах и по краям были проходы. В ногах стояли табуретки, на которых лежали чемоданы с нашими вещами. Высокие окна с форточкой выходили на передний фасад здания. В пролётах между окнами висели шинели, а на полках лежали фуражки. На одной из свободных стенок висели полотенца, на полочках лежали мыло и зубной порошок. Около двери в углу стояла высокая чугунная печь и мусорный ящик. Как часто, «дядьки», сжалившись, зимой ставили нас на штраф не в холодном коридоре, а около мусорного ящика (хорошо мне знакомое место).

Почем-то укладка осталась у меня в памяти, как самое интересное время из целого дня. Надо было быстро помыться, подтянуться

несколько раз на лестнице и скорее бежать в спальню, а то там могли «подставить» кровать или подстелить «мешок».

Наши железные кровати разбирались на две спинки и две боковых жерди, на которых в длину лежали доски, матрац, набитый соломой, две простыни, подушка и одеяло. Осторожно вынув из пазов спинки боковую жердь и вложив её обратно только так, чтобы она еле держалась, «подставлялась» кровать. К тому же, для уверенности, что кадет раскачает кровать, в самой кровати стелился «мешок». Верхняя простыня складывалась пополам и на нижнюю часть клалась подушка, а верхняя половина закатывалась на одеяло, как должна выглядеть застеленная кровать. Когда кадет, укладываясь спать, бережно старался залезть под простыню, чтобы не портить аккуратно застеленной кровати и сэкономить время завтра утром, опять её застилая, его ноги на половине кровати упирались в «мешок», и он, конечно, стараясь его проткнуть, раскачивал кровать, которая разваливалась. Ему потом, бедняге, надо было наново собрать всю кровать и постель. Всё это я, как новичок, испробовал на «собственной шкуре» и сам выучил премудрость этих шалостей, которыми неоднократно пользовался.

В половине десятого тушился свет и горел только «ночник». К этому времени все должны были лежать в кроватях на правом боку и держать левую руку поверх одеяла. Спали мы в одних рубашках, а кальсоны, сложенные аккуратно квадратом, лежали на гимнастёрке и брюках, тоже сложенных квадратом на чемодане в ногах кровати. «Дядьки», перед тем, как самим ложиться спать, обходили спальни и сбрасывали неаккуратно сложенные кальсоны на заснувших кадет. Поздно ночью сам директор с дежурным офицером-воспитателем иногда обходил все спальни корпуса.

Владимир Васильевич Казимиров, кадет 43-го выпуска Донского корпуса, мне рассказал, что у них были «дядьки», которые линейкой проверяли квадраты сложенных кальсон.

На укладке устраивали «бой подушками». Сбивали пух в подушках в один конец, и этим «оружием» тузили друг друга. Устраивали «кучу малу». В большинстве случаев она начиналась случайно и не обязательно в спальне. Во время возни или случайной драки, когда кто-то оказывался на полу, с криком «куча мала» кидались на лежащих. «Куча» иногда доходила до больших размеров, и внизу лежащим приходилось туго. Не раз побывав на дне «кучи» и выдержав тяжесть чуть ли не целого класса, я на другие «кучи» старался по-

пасть повыше. Поводов к тому, чтобы устроить «кучу малу», было много. Кроме того, что это перебивало монотонность нашей однообразной жизни, она имела и некоторый воспитательный характер. Разнимали двух драчунов и не давали возможность сверху сидевшему «тузить» лежащего, по старой военной традиции — «лежащего не бьют».

«Выжимали масло» из толстяков без всякой причины, или нарочно (Павлик Кутепов). За партами мы сидели по двое, кто-нибудь подсаживался с края, и из среднего давили «масло».

Удобнее всего устраивать «тёмные» было в спальнях. Противившегося кадета накрывали одеялом и били. За все эти годы, что я провёл в родном корпусе, я помню один такой случай — за «ябедничество»²⁴. Кадетская среда не переносила доносов, ябедничества и воровства в своей среде, и с виновными сама расправлялась. Это была часть наших традиций.

За все эти шалости нам попадало, но не от «дядек», а от «зверей». Так как виновных, в большинстве случаев, не оказывалось, выставляли всю спальню на продолжительный штраф или оставляли класс без отпуска.

Воскресенье

По воскресеньям и праздникам распорядок дня менялся. Вставали мы в 7 часов, и всё равно «дядькам» приходилось нас вытаскивать из кроватей. Также занимались гимнастикой, пили утренний чай с хлебом и добавочным маслом и шли на утренние занятия. Так как офицеры-воспитатели на них регулярно не присутствовали, то толку от этих занятий было мало. Конечно, прилежные кадеты занимались, — нам на понедельник задавали больше, чем среди недели. В моей, тогда ещё глупой башке, никак не совмещались воскресенье и уроки. Если я не читал какую-нибудь интересную книгу или не писал на пару с Женькой Демьянюком стихи, то рисовал.

К десяти часам надо было быть в церкви. Нам выдавали парадную форму. Любил я её, в особенности наши летние белые рубашки — чистые, свежие, от них так чудно пахло не то травой, не то мылом или цветами, каким-то таким знакомым запахом — домашним. Доставали из под матрацев брюки, что запрещалось (надо было их сдавать в цейхгауз), которые там, завёрнутые в простыню, «гладились». Перед тем как одеться, надо почистить пуговицы на рубашке,

²⁴ Выдача или донос на товарищей «зверям».

бляху и ботинки. Пуговицы мы чистили «Сидолью»²⁵ на «гербовке»²⁶. Так как у меня её не было, а у тех, кто имел, образовалась очередь, и ждать было долго, я зажимал пуговицу между пальцами и, налив на тряпочку «Сидоли», чистил, предпринимая все осторожности, чтобы не запачкать рубашку. Суконкой или, если её не было, концом одеяла, доводили пуговицы и бляху до «ослепительного блеска». «Дядьки» выстраивали класс в одну шеренгу и тщательно проверяли нас, придираясь к самым мельчайшим пустякам: блеск пуговиц на рубашке и погонах; бляха наоборот, или висит на пузе; не торчат ли портянки из-под брюк; не болтаются ли шнурки. А если брюки превратились в «макаронны», в исключительных случаях разрешали в комнате «дядек» погладить утюгом. «Дядьки» показали, как безошибочно надевать бляху: если её держать в правой руке, никогда не ошибёшься. Длина пояса на бляхе должна была быть в обхват головы. С нас этого ещё не требовали, но проверяли, проходит ли палец между поясом и гимнастёркой. Недаром нас гимназисты дразнили:

Кадет на палочку надет,
Затянулся в корсет,
Вздыхнул и умер!

Фельдфебель выстраивал роту по общему ранжиру (по росту).
— Становись...

И шеренга, начиная от правофлангового, виляя, как змейка, вытягивалась в длинную, ещё живую линию, почти до конца коридора.

— Равня... йсь, — тянет фельдфебель и подходит к правофланговому, чтобы выровнять шеренгу.

— Середина... подай вперёд, левый фланг... назад.

Рота выравнилась, как стрела, и замерла.

— Смирно!

Фельдфебель обходит роту, делая отдельные замечания:

— Убери живот... руки назад! Вот так и в церкви стоять.

Разбив по рядам, как стоят в церкви (кажется, по пяти), отдаёт команду:

— На первый, второй рассчитайсь!

²⁵ Жидкость для чистки меди.

²⁶ Железная или деревянная планка с отверстием, куда зажимались пуговицы с российским гербом, чтобы не пачкать рубашку.

Понеслось, удаляясь по шеренге: первый... второй... первый... второй... с отчётливым поворотом головы в левую сторону, пока не дошло до левофлангового первого класса Федорова, который спокойно, довольно тихо заявил:

— Первый.

Фельдфебель погрозил ему кулаком, на что Федоров ему ответил скромной улыбкой. Федоров был ротным любимцем, и это повторялось на каждом построении. Вся рота ждала, когда он выговорит свой номер (иногда — первый, иногда — второй). Фельдфебель его никогда не наказывал. (Вот запомнилась такая мелочь, а имени его не помню.)

— Ряды вздвой!

Шаг назад и шаг вправо, отчётливо приставили ногу.

— Направо сомкнись... Равняйся... Смирно!

Стоит рота, не шелохнётся.

— Направо... Шагом марш!

И ведёт роту по лестнице вниз в зал. Перед входом в зал, который сейчас нам служит как церковь, фельдфебель командует:

— В одну шеренгу стройся!

И мы по одному входили в церковь, и по пяти становились с левой стороны зала. «Дядьки» выравнивали шеренги, а затем становились у стенки за выступом арки.

Сразу за нами входила Рота Его Высочества. Ещё издали мы слышали тихие, но отчётливые шаги, и хотя нам нельзя было поворачиваться, мы осторожно, с большим любопытством оглядывались на старших кадет. Они заходили ровными шеренгами на правую сторону, останавливались на своих местах и, как один, тихо, почти бесшумно поворачивались налево. Красота! И так — вся рота.

Посередине зала, между ротами, был оставлен широкий проход, на котором лежала ковровая дорожка, и перед алтарём стоял аналой. За белыми перегородками со стилизованным Владимирским крестом, которые выставлялись, обозначая клиросы, с левой стороны уже стоял хор под управлением М. С. Собченко. Из боковой двери выходил «Генпоп» в сопровождении дежурного по корпусу кадета. Директор становился сразу за хором на маленьком коврике, а дежурный кадет — позади него, с левой стороны, и служба начиналась.

Стоять в церкви смирно и не шевелиться — нелегко, а выстоять так всю службу, без привычки, даже очень тяжело. Для меня это было впервые. Незаметно переминаясь с ноги на ногу, оказалось,

ещё хуже. Позади, у стенки, стоял «дядька», я его не видел, но чувствовал, как его пристальный взгляд жёг мне затылок. Посмотрел на соседей: стоят спокойно, — вот, что значит практика! Слева от меня стоял Верчик Александр (кажется), а у стенки, перед «дядькой», торчало пузо Павлика, он усердно крестился. Женька стоял позади меня (он был выше ростом).

Понравилось мне пение хора, хотя сам был «козлом»²⁷. Особенно мне запомнился Михаил Степанович Собченко, наш преподаватель пения и регент церковного хора, который, стучая камертоном по голове кого-нибудь из «козливших» хористов, задавал тон.

Чтение Апостола, как в этот первый раз, так и впоследствии, всегда привлекало моё внимание. Его читали басом кадеты Роты Его Высочества: Лашкарёв Александр («Ушкарь», XIX выпуска) и Бабушкин Владимир (XXI выпуска).

Лашкарёв, останавливаясь перед аналоем, перед тем, как начать читать, закрывая одной рукой ухо, задавал себе тон «ми...», который мы слышали.

«Верую...», которое я тогда не знал, пели всем корпусом, а на «Отче наш...», которое я знал, становились на колени. Пока опустишься на колени и потом поднимешься, можно было немного размяться. Я должен признаться, что тогда, в тот первый день, под конец я уже не молился, а ожидал конца службы. Когда церковники начали закрывать алтарь панелями с разрисованным Кремлём, и фельдфебель тихо скомандовал: «Направо! Шагом марш!», всё моё тело ныло. Бодрый шаг до помещения роты вернул к жизни мои закоченевшие суставы. Тем не менее, когда нас распустили, чтобы переодеться в повседневную форму, я лёг на кровать и поднял ноги на цигель (уже испытанный способ после футбола) — дать ногам отдых.

Как быстро в детстве мы одолеваем те тяжести, которые нам попадают на пути? К концу года я спокойно простаивал всю службу, и потом уже не задираю ног на цигель. Запомнив распорядок богослужения, прислушиваясь к песнопениям и ожидая те, которые мне особенно нравились, я неизменно, после службы, чувствовал себя как-то радостно и спокойно. Это совершенно не мешало мне «ловчить» от церкви, но не потому, что я не хотел идти на службу, а потому, что мне надо было дочитать интересную книгу, которую надо было уже возвращать в библиотеку, или находились ещё какие-

²⁷ Без слуха и голоса.

нибудь глупые причины, которые могут показаться очень важными в двенадцать лет.

Переодевшись в повседневную форму, мы шли на обед, который не отличался от каждодневного. После обеда — прогулка, потом — чай с булкой, и в остальное время (до ужина) — прогулка на дворе. После ужина бывали лекции, доклады или какие-нибудь выступления, или вечерние занятия. Укладка спать — и день кончался, а завтра уроки... Какие уроки? А что было задано?

И так изо дня в день! Кажется монотонным? О нет! Каждый день приносил новые впечатления, всё новые и новые испытания, с которыми изобретательная кадетская натура гордо справлялась. Недаром кадеты Суворовского корпуса, у которых на погонах был вензель — Сув с точкой, сдирали точку, ссылаясь на то, что Суворов ни перед чем не останавливался, — и мы тоже. Это нам «дядьки» рассказали.

Наш зал

Пока идёт служба, и я первый раз стою в нашем зале, который на сегодня преображён в церковь, и, несмотря на то, что слежу за службой и стараюсь молиться, зал на меня производит огромное впечатление. Он описан почти во всех «Памятках» и во многих кадетских изданиях, но я хочу о нём написать от себя.

Я стою в середине шеренги, между третьей и четвёртой аркой. Всего в зале восемь пологих арок, которые покоятся на выступах примерно пятьдесят-шестьдесят сантиметров в длину (от стенки) и двадцать сантиметров — в ширину. В зале светло и празднично. Светло потому, что в каждом пролёте с фронтальной стороны большие высокие окна. Утреннее солнце освещает всю правую сторону зала. А празднично потому, что зал белый, и только на высоту в полтора метра от пола выкрашен глянцевиной тёмно-малиновой краской. Мне стало как-то тихо, приятно-празднично.

Церкви в Скопле, в которые я ходил с покойной матерью и с отцом, были старинной византийской архитектуры, довольно мрачные, и стены в потемневших от времени росписях и фресках, правда, располагали к молитве, но меня пугали. В раннем детстве, я, стараясь побороть страх, был беспокойным и шалил.

Сейчас, стоя в нашей светлой церкви, чувствуя тихую радость праздника, отдыха, хотелось благодарить Бога за духовное обогащение, за мир и спокойствие в душе. Возможно, что тогда, в моё первое

воскресенье, я все эти чувства ещё не осознавал, но со временем они осели в глубине потаённых хранилищ моей души. Я часто говорю: «Родной корпус», — он стал мне родным, и также наша беленькая церковь стала мне родной.

Алтарь, который возвышался на три ступеньки, занимает два пролёта, и клирос, где стоит хор, — один пролет. Иконостас перед алтарём — классического стиля, белый, с золотой оправой; замечательные иконы — в неоклассических арках (под Васнецова). В алтаре вижу запрестольную икону «Нерукотворный Спас». (Потом я узнал, что это знамя Сумского кадетского корпуса.)

Моё внимание сразу привлекли надписи над арками, которые я не сразу мог прочитать, так как они были написаны стилизованным шрифтом, с которым я не был знаком. Надпись над алтарём была первая, которую я полностью разобрал: «Не в силе Бог, а в правде» (Александр Невский). Это мне понравилось. «Бог правду видит, да не скоро скажет», — так часто повторял дядя Ваня, вестовой отца. По бокам надписи нарисованы ордена. Что это орден, я догадался, но какой?.. Форма была такая же, каким был крест у отца, который я не раз держал в руках, но этот, на арке, был чёрного цвета, а у отца — малинового. (Орден был св. Александра Невского, а у отца — св. Владимира.)

На арке, перед которой я стоял, была длинная надпись, и по бокам — золотой вензель Императора Николая II (которому и принадлежат эти слова). Я долго её разбирал, и, по правде сказать, не очень старался, ведь надо же было и креститься, и с преклонной головой слушать Евангелие, но к концу службы я всё-таки её разобрал: «Только та страна сильна, которая свято чтит заветы родной старины». Я сообразил: надо учить историю, это легко.

Надпись на арке в самом алтаре я не разобрал. Её никогда полностью не было видно с того места, где я стоял, и прочитал я её всю уже в третьем классе, когда начали учить порядок церковного богослужения, и каждый из нас назначался в алтарь держать двери, когда батюшка выходит и входит. (Переписываю её из «Памятки»: «Так ли не могли вы один час бодрствовать со Мною», от Матфея 26, 40)

Остальные надписи я читал, когда церковь закрывалась разбирающейся перегородкой с громадной, во всю арку, картиной Кремля, нарисованной кадетом Прутковым Крымского корпуса, и превращалась в парадный зал.

На следующей арке, на противоположной от алтаря стороне, был нарисован беленький орден св. Георгия Победоносца, который

я тоже узнал, и надпись: «Храбрым — бессмертие». Я ещё не совсем хорошо понимал, что такое бессмертие, и храбрость представлял себе очень смутно, но решил расспросить «дядьку», и этому научиться.

Следующая арка: «Один в поле и тот воин». Это мне было совершенно понятно: сколько раз мне приходилось одному защищаться от целой кучи сербов. Это девиз Виленского военного училища, и по краям нарисован их значок: прямоугольный крест, концы которого поделены пополам и покрашены в чёрный и жёлтый цвет.

Дальше, между Российскими Императорскими гербами: «Жизнь Родине — честь никому». Тут у меня возник вопрос: значит, кроме Бога, жизнь моя принадлежит и Родине? Вспомнил я, что отец как-то говорил: «Береги честь смолоду...», и ещё там что-то... Это смутное понятие о чести опять заставило меня обратиться за разъяснением к «дядьке».

Следующая надпись — девиз лейб-гвардии Кексгольмского Императора Австрийского полка, в котором служил покойный первый директор корпуса генерал-лейтенант Б. В. Адамович: «Рассеяны, но не расторгнуты». Смысл девиза до меня не дошёл. Что рассеяно и кто не расторгнут? Тоже надо с «дядьками» переговорить. По бокам надписи — полковой значок в форме удлинённого белого креста, который я видел на портрете, нарисованном нашим преподавателем рисования М. М. Христогоновым.

На последней арке, у входа в зал, перед сценой, девиз родного корпуса: «Помните, чьё имя носите» (Цесаревич Константин Павлович), и наш корпусной жетон. Это изречение мне было хорошо знакомо, правда, не во множественном числе и не в этом падеже, но суть одна и та же. Отец мне не раз повторял: «Помни, кто ты».

Сцену, то есть разрисованный плафон сцены, я подробно рассмотрел потом, когда мы бывали на праздничных представлениях. К великому своему удовольствию, я, на этих копиях иллюстраций русских сказок моего любимого художника Билибина, нашёл давно знакомые сюжеты: проснувшегося Иванушку, который успел выдернуть золотое перо из хвоста жар-птицы (это была моя первая работа красками, где, заполняя обведённые контуры краской, я впервые держал в руке кисточку), «Избушка на курьих ножках», «Кощей Бессмертный», «Баба-яга в ступе» и другие сюжеты, так умело собранные в одно целое панно кадетом Крымского корпуса бароном Корфом, настойчиво твердили: «Тут русский дух, тут Русью пахнет...»

Конечно, все эти подробности я узнал гораздо позже. То первое, самое сильное впечатление, которое остаётся на всю жизнь, несмотря ни на какие перемены в дальнейшем воспитании: в чужой окружающей среде с постоянным влиянием как моральным, так и духовным, во мне оставило навсегда непоколебимую веру в Бога и Церковь и возбудило детское любопытство к нашим, как кто-то их назвал: «говорящим стенам».

Первый отпуск

Как я не старался вспомнить последовательно и подробно это полугодие, у меня ничего не вышло. Я даже заглянул в «Памятку». Там в Хронике всё написано — все главные события, которые я совершенно не помню. Забыл — и всё. Конечно, я бы мог описать все наши праздники так, как я их запомнил в последующие годы, но кривить душой не буду и опишу их в хронологическом порядке. Некоторые моменты всё-таки остались в памяти: бесконечные строевые занятия с репетициями парадов, производства в вице-унтер-офицеры на Корпусной праздник и на праздник Роты Его Высочества. Нашего праздника 2-й роты вообще не помню. Вспомнил, что несколько раз, по воскресеньям, ходил в отпуск. Это было в самом начале года, когда мне, после сдачи строевого экзамена, выставили «пятерку» по поведению, которая продержалась недолго. Тогда я побывал в городе у Семёна Николаевича («Сёмки») Боголюбова, который преподавал географию и природоведение. Меня пригласил его сын, мой одноклассник Ника, по наследству — тоже «Сёмка». Я плохо помню его маму, Елену Михайловну, но хорошо запомнил его сестру Тасю. Тоненькая высокая девица со светлыми косичками, по лицу которой можно было сразу узнать, что она сестра Ники. Меня угостили ароматным чаем с печеньем, а Семён Николаевич расспросил меня о родстве с М. Ю. Лермонтовым, на что я не мог ему подробно ответить, так как сам мало об этом знал.

В одно из таких счастливых воскресений, когда полковник Зиолковский, мой классный офицер-воспитатель, выдал мне целых два динара, из денег, которые присылал мой отец, я мечтал пойти прямо в кондитерскую «Могоша» и съесть его знаменитый «наполеон», что считалось «сверх блаженством». (Счастливое детство! Сколько раз потом менялись эти степени блаженства!) К «Могошу» я не пошёл, — меня предупредили, что там много старших кадет, и во избежание возможных последствий, лучше пойти к «Побединской», где за

те же деньги можно съесть два пирожных. Действительно, у «Побединской» «чёрных шинелей»²⁸ не было, и я среди своих, чувствуя себя свободно, слопал две трубочки с кремом. А потом болел живот. Сладкое я не люблю. Не то что не люблю, а равнодушен — могу есть, а могу и не есть, — таким остался и по сей день.

Занятия кончились в конце декабря. Когда полковник Зиолковский сообщил мне, что отец берёт меня на рождественские каникулы домой, моей радости не было конца, и в то же время — удивлению, так как я не мог себе представить, каким образом у отца нашлись деньги на мою поездку. Ему, наверное, пришлось очень экономить из и так скудного жалованья.

Помню поезд, который направлялся из Белой Церкви в Белград, переполненный кадетами, уезжающими на рождественские каникулы. Все мои скоплянцы (все жили в городе Скопле) сели вместе. В Белграде пересели на другой поезд, который нас довёз до Скопья.

.....

Каникулы промчались быстро, но я не жалел, и с радостью возвращался в корпус.

1938 год (второе полугодие)

Корпус меня встретил дружной кадетской семьёй. Начались занятия, и я опять втянулся в строго распределённый уклад нашей жизни. Пока были ещё свежи рождественские впечатления, мы с Женей делились своими переживаниями и, конечно, писали стихи. Я задумал писать роман о пиратах и красавице Анжелике. Женское имя должно было обязательно начинаться на «А». Для этой цели я разделил мою исписанную черновую тетрадку на две части, снова каждую сшил, и получил от полковника Зиолковского две новых. В одной из тетрадей начал писать первую главу. К «настоящему» роману понадобились иллюстрации, к которым я немедленно приступил. На заглавной странице красовался трёхмачтовый корабль под вздутыми ветром парусами, волнистое море, а на горизонте — большое солнце. Корабль был нарисован чёрным карандашом, море — синим, а солнце и название «Анжелика» — красным карандашом. На этом мой «роман» закончился, вся тетрадка была заполнена парусными кораблями разных видов и размеров, и, по моей неосторожности, была отобрана полковником Зиолковским.

²⁸ Кадеты Роты Его Высочества.

Регулярно занимался гимнастикой и лазил по канату до потолка. По вечерам подтягивался на лестнице, — «Шарик» уже не должен был меня заставлять.

Из-за плохой погоды мы чаще оставались в помещении роты и играли в разные игры, а когда они надоедали, выдумывали новые. Так как в коридоре бросать мяч было строго запрещено, мы играли, подбивая его головой, и так доводили до гола противника — ширина коридора, и забивали гол. В классе за партами или за столом играли в «Бобчинский-Добчинский, руки на стол», или обманывали — «под стол!» Можно было играть вдвоём, но чаще — садились по два-три кадета напротив друг друга и старались спрятать пуговицу или деньги в руках, которые по команде надо было выложить на стол. Те, кто сидел напротив, старались угадать, под какой ладонью пуговица, и прибегали к всевозможным разрешённым уловкам и обманам. Надо было слушать только того, кто командовал, и только по его команде «убери» — убирать руку. Если в руке оказывалась пуговица, то прячущая сторона выигрывала и прятала опять, но если он сказал «дай», и там была пуговица, то они её получали и начинали сами прятать.

Была ещё игра в «зёську»²⁹, и мне никак не удавалось побить Толю Шеховцева («Зёську»).

Сначала надо было смастерить эту «зёську». Из старых тряпок вырезали квадраты или круги и, сложив в стопку, прошивали их насквозь посередине. Чаще всего употребляли две пуговицы. Потом каждый кусок, с края до пуговицы, нужно было разрезать на тонкие полоски, распушить, и получалось что-то вроде лёгкого мяча. Определялись голы. В коридоре — по просветам окон, а в классе — от стенки до стенки перед доской. Подбивая ногой «зёську», играющий пододвигался к противнику и бил по голу. Если «зёська» во время хода падала на пол, противник получал ход и наступал тем же способом. Толя в этой игре всех побеждал, и я не помню, получила ли эта игра название по Толиному прозвищу, или наоборот. Он сидел на первой парте, с правой стороны, у окон, с Вениамином Стекольниковым («Бараном»), который беспрерывно теребил Толе ухо.

В феврале посетил корпус высокопреосвященнейший митрополит Анастасий. Я первый раз присутствовал на архиерейской службе, из которой в памяти остались только два момента. Первый: служба была торжественная и очень длинная, и второй: запомнились иподиаконы, одевавшие митрополита и подававшие ему светильники (дикирий и трикирий).

²⁹ Мяч из тряпок.

Великий пост впервые оставил на меня незабываемое впечатление, которое сохранилось на всю жизнь. Батюшка о. Иоанн, которого мы очень любили, и на уроках, даже не сговариваясь, сидели тихо и мирно, рассказал нам, приводя понятные нам примеры о важности и необходимости Великого поста. На каждое особое посвящение поста (смирение, прощение и покаяние) о. Иоанн привёл наглядные примеры из нашей кадетской жизни, которые на меня произвели огромное впечатление. Я перестал задира́ться, спорить и драться. Начал лучше учиться и вести себя спокойнее. Очевидно, это заметил полковник Зиолковский, так как к Пасхе мне прибавили балл за поведение (с «единицы» на «тройку»).

Я не помню, каким образом я скатился с «пятерки» на «кол» в первый же год. Предполагаю, что за драки, к которым я тогда был большой охотник, — надо же было установить своё место, мне, новичку, в классной иерархии.

Корпус постился на 1-й, 4-й и 7-й неделях и говел на Крестопклонной неделе. На всю жизнь я впитал то молитвенное спокойствие, я бы даже сказал: блаженное состояние, во время продолжительных великопостных богослужений, с бесконечным чтением псалмов и молитв. Глубоко, на всю жизнь запомнилась покаянная молитва Ефрема Сирина: «Господи и Владыка живота моего...» Также помню, как во время чтения шестопсалмия, я, да и не только я, но все мы ждали того места, где чтец с особым выражением, за что рисковал быть наказанным, произносил: «...и зубы грешников, сокрушил еси ...», мы со сдержанной улыбкой переглядывались. Во время поста это звучало особенно сильно. Также помню, и это уже не в посту, как чтецы на клиросе умудрялись, за коржик или за котлету, читая это же самое место, быстро произнести: «...и зубы Грещенко сокрушил еси ...» Полковник А. К. Грещенко был офицером-воспитателем и ктитором церкви.

От этих длинных, монотонных служб я в этот первый год не «ловчил». Меня покорило это тихое, спокойное чувство перемены всего уклада нашей жизни. И не только я переменялся, но и все мои товарищи менялись в этот период. Заметно прекратились смех и шутки, в коридорах не было видно возни и штрафных, прекратились всякие игры.

В течение всего поста, в среду и пятницу, подавали постную пищу, которую я очень любил: картофельные котлеты с грибным соусом, рисовые котлеты с черносливом, оладьи с мёдом и знаменитый постный борщ с маслинами и сушёными грибами. В борщ, очень редко, но по-

падали с грибами и червячки. Мы ходили к батюшке повторно исповедаться — съел, мол, мясо. Батюшка заставлял нас класть земные поклоны не за червяка, а за то, что несерьёзно относились к посту.

Когда мы говели на Крестопоклонной неделе, меня поразила полная тишина, наступившая в роте. Смутно помню мою первую исповедь... тёмный алтарь, еле мерцает одинокая свеча на подсвечнике, у аналоя тёмная фигура о. Иоанна. На всю жизнь, после исповеди, осталось неизменное радостное чувство духовного обновления, когда на душе становится так легко и свободно.

Пасхальные каникулы я провёл в корпусе. Опять должен признаться, что от этого года мало что осталось в памяти. Помню, с каким восторгом я надел первый раз белую рубашку к Заутрене, крестный ход вокруг здания, «колокольный звон» (я не знал, откуда он идёт), христосование с директором корпуса; пасха и куличи; катание яиц и больной живот после того, как я съел все выигранные яйца.

После Пасхи быстро вернулось моё нормальное воинственное настроение, и последние три месяца, до конца учебного года, промчались почти незаметно.

Корпус кончал XVIII выпуск. Прочитав в «Памятке» список выпуска, я, конечно, вспомнил всех. Однако тогда в памяти остались только некоторые. Вице-фельдфебель Пётр Маслов, в последний раз, перед концом года, зашёл к нам во вторую роту, и мы его чуть не растерзали. Смуглый, невысокого роста, хороший гимнаст, он был полным воплощением того облика настоящего кадета, которым мы стремились стать. Это был наш «бог», недоступный нам, малышам. Мы его видели только на построениях всего корпуса. Мне так хотелось, хотя бы до него дотронуться, и я, пробившись через кучу окружающих его кадет, всё-таки добрался до его руки и, крепко пожав её, что-то ему пожелал. Фельдфебель 2-й роты вице-унтер-офицер Коля Каменев, которого я очень боялся, а он на самом деле был добрый и ласковый. Конечно, запомнил знаменщика вице-унтер-офицера Юру Ламзаки и кумира всех гимнастов вице-унтер-офицера Костю Курицкого. Ещё остался в памяти, за его институтские проказы, смуглый красавец-ухажёр князь Голицын Кирилл, и, как ни странно, запомнился правофланговый вице-унтер-офицер Плотников Борис и левофланговый — Иованович Велимир.

Вопреки полученным хорошим отметкам во время поста, которых не хватило на годовой переходной балл, я уехал домой на летние каникулы с двумя «дрыгами»³⁰ — по арифметике и русскому языку.

³⁰ Переэкзаменовки.

Кадетский корпус в 1938—1939 годах, III класс

Сборы мои были невелики. В мой небольшой чемодан, кроме формы и книжек, которые я брал из корпуса на лето, поместились: мёд, коробка рахат-лукума и повидло из слив, подаренное нашей хозяйкой. Я ей собирал сливы с самой верхушки дерева.

Отец проводил меня на станцию. Посадил, как всегда перекрестил и на ходу выпрыгнул из поезда. Чуть было не опоздали. В этот раз мы ехали без старших. Сидели все вместе: Юра Козорез, Саша Шпора и Жорж Козловский (XXV выпуска). Каждый делился своими летними воспоминаниями, но никто не вспоминал «дрыги». У кого-то нашлись печенья, и когда мы подъезжали к Нишу, от моего повидла уже ничего не осталось. Угостили, конечно, и кондуктора, которому было поручено за нами присматривать. Я вылизал баночку, и в Нише, где поезд стоял несколько минут, мы все успели из неё напиться воды.

Уже стемнело, когда мы приехали в Белград. Я был очень собою доволен, что, не блуждая, добрался до Ольховских. Напоили, накормили и спать уложили. Я до сих пор помню гостеприимство этой семьи. Наутро, после завтрака, Юра Ольховский проводил меня на станцию, где уже собиралась «братва», ведь у нас у всех были переэкзаменовки.

На перроне родители, не особенно веселые, стоят подальше друг от друга, провожая своих сыновей. Какая-то мама пытается обнять и поцеловать отбивавшегося первоклашку:

— Перед экзаменом, обязательно повтори таблицу умножения, не забудь!

Первоклашка вырывается из объятий матери и, заправляя рубашку в штатские штаны, широким, размашистым шагом идёт к вагонам. Раздаётся пронзительный свисток, и начальник станции поднимает руку. Поезд тронулся. Какой-то строгий отец, идя рядом с вагоном, крикнул:

— Если не выдержишь переэкзаменовки — не возвращайся домой!

Поезд, набрав скорость, выехал со станции. В вагонах некоторое время было тихо, а потом все сразу заговорили, и в соседнем вагоне, где сидели старшие кадеты, раздалась «Звериада»³¹, наш корпусной

³¹ Традиционная корпусная песня.

традиционный «гимн». Это был первый раз, когда я её слышал полностью. Она довольно длинная (21 куплет), и я все куплеты на память никогда не знал, однако среди нас всегда находился кто-нибудь, кто помнил все куплеты.

«Звериада»

Товарищ, будь кадет — кадету,
В несчастье смело помогай,
И наши скромные заветы
Всегда и всюду исполняй.

А тот, кто подло нам изменит,
Забыв о корпусе родном,
И шкуру новую наденет,
Тому проклятья дружно шлём!

Державной волей Николая,
Всесильной волею царя,
Его заветы исполняя,
Возникли два монастыря.

Один — безмолвно и угрюмо
В старинном Киеве стоял,
Другой — в дали мирского шума,
В Одессе стены возвышал.

Но не монахи обитали
В стенах тех двух монастырей,
Их Корпусами называли
По всей Руси среди людей.

Угрюмо, мрачно, молчаливо
Они стояли много лет,
Храня в стенах своих ревниво
И строго множество кадет.

Но вот, минули годы счастья:
Настал ужасный смутный год,
И знамя красного безвластья,
Поднял в безумии народ.

Вскипели силы роковые,
И безмятежный день угас,
И кровью собственной Россия
Во мраке скорби облилась.

И оба Корпуса, гонимы
Пожаром общего огнём,
Предел покинули родимый
И гнёзда старые на нём.

И после долгих испытаний
За рубежом родной земли,
Они предел своих страданий
В унылой Сербии нашли.

В горах средь Боснии далёкой,
В долине дикой и глухой,
Лежит Сараево глубоко,
Над быстрой горною рекой.

И там, на площади угрюмой,
Безмолвна, сумрачна на вид,
Как бы полна тяжёлой думой,
Казарма старая стоит.

Она уныла, как могила.
Над ней всегда висит туман,
Но та казарма приютила
И одессит и киевлян.

В стенах казармы этой душной,
Забывши ненависть свою,
Они слились единодушно
В одну кадетскую семью.

Там Русский корпус был основан,
Сплочённой массою кадет.
Одною верой крепко скован,
Одной традицией согрет.

Далёкой Родины заветы,
Средь гор чужой для нас страны,
В сердцах измученных, кадеты,
С любовью свято сберегли.

В нём сердце трепетной России
Хранит свой прежний гордый вид,
Наперекор чужой стихии
В нём дух воинственный горит.

В нём не для праздности, забавы,
Собрался тесный круг кадет,
Но для созданья вечной славы
Гнезду, где жили много лет.

Седых заветов, Русь Святая,
Мы не могли здесь позабыть,
Венок терновый заплетая,
Мы будем их в душе носить.

Пусть муки жалкого изгнанья;
Наш путь тернистый не пригрет,
Но старины святой преданья,
Рождают силы у кадет.

Мы верим в силу Провиденья:
Взойдёт счастливая заря,
Когда в пылу святого рвенья
Умрём за Русь и за Царя.

И полились наши кадетские песни в такт равномерному стуку колёс, возбуждая кадетскую гордость и задор. Одна из песен Крымского корпуса, которую мы называли «Гей! Прохожий», пелась с особым подъёмом.

Песнь Крымского кадетского корпуса

Мы, бывалые кадеты,
Поносились по волнам,
Говорят, что мы отпеты,
По колено море нам.

Припев:

Гей! Прохожий, дай дорогу,
Крымский корпус наш идёт.
Ну-ка, братцы, твёрже ногу,
Впереди нас счастье ждёт.

В грязь лицом мы не ударим,
Отходи-ка поживей,
А не то, мы так нагреем,
Не сберёшь своих костей.

Тяжело нам на чужбине,
Не поймёт нас здесь никто,
Но постигшей злой судьбине
Не сдадимся ни за что.

В Белой Церкви всё лишенья,
Нет веселья капли тут;
И одно лишь утешенье,
Здесь родной нам институт.

От земли вдали родимой,
Сбережём кадета честь;
Для врагов нашей любимой,
Только горе, только месть.

И как русские кадеты,
В сердце носим мы не зря
Дорогие нам заветы:
Веру, Родину, Царя.

Строчку «Крымский корпус наш идёт» мы заменяли: «Славный корпус наш идёт». Пели мы эту песню всегда с подъёмом, с задором, и даже такие «козлетоны», как я, громко и воодушевлённо присоединялись к общему хору. Особо выразительно пелся куплет с институтками.

После традиционных песен кто-нибудь начинал «Крокодилу» или «Золотую азбуку». У меня осталось в памяти, что я эти песни слышал чаще всего в поезде или на «холмах», во всяком случае, не в присутствии «зверей». Кадеты прекрасно знают эти песни, а для непосвящённых я сделаю пояснение.

«Крокодила» — шутливая песенка, иногда с вульгарными словами. Пелась она на мотив марша «Дни нашей жизни», который оркестр корпуса, по традиции, играл на прогулках, проходя мимо института.

По улице ходила
Большая крокодила.
Она, она голодная была.

Во рту она держала
Кусочек одеяла,
И думала она,
Что это ветчина.

Увидела француза
И хватать его за пуза.
Она, она голодная была.

И так на разные темы, и по всем государствам, вплоть до китайцев. Жаль, что прогнила моя тетрадка, — там было много «крокодиловых» куплетов.

«Золотая азбука» пелась на мотив «Алла верды» (кавказское приветствие: «Бог дал»). На каждую букву алфавита срифмованы две строчки: первая — безобидная, которая даёт рифму второй нецензурной строчке.

Арбуз на солнце любит греться.

.....

И последняя:

Ямайка остров в океане.

.....

Я ни разу не слышал всего алфавита. Во время пения часто пропускались многие буквы. Среди старших кадет, наверное, были любители, которые знали всю азбуку, но я сомневаюсь, что она где-нибудь полностью сохранилась.

Вспомнил ещё одну шуточную песенку — «**Горшочек**». Судя по её содержанию, она, наверное, сохранилась ещё из России.

Когда я был ребёнком,
Ходить ещё не мог,
Любезная мамаша
Купила мне горшок.

Припев:

Мой маленький горшочек,
Мой маленький горшок.
Мой малый, малый, малый,
Малюсенький горшок.

Подрос, остепенился,
И двадцать лет спустя,
Превыгодно женился
На старой деве я.

Я поздно возвращался,
И громко песни пел.
С женою я ругался,
Мне в голову летел:

Мой маленький горшочек...

Помимо общих песен, в каждом классе был свой «Журавель», также «Журавель» на персонал корпуса и на все Кадетские корпуса (Перекличка № 16), который пелся на мотив «Журавля».

«Журавель» на наш корпус:

Жура, жура, журавель,
или: Как солдаты разодеты,
Журавушка молодой,
Адамовича кадеты.
Задаёт повсюду тон,
Наш малиновый погон.

Уже не первый раз мне хочется забежать вперёд и отметить, как в течение всей нашей жизни эти песни — наши кадетские песни — сопровождали нас везде: и в горе, и в беде, и в час веселья, и в радости.

* * *

И так, с песнями, поезд прибыл на станцию Белой Церкви. Нас встретил дежурный офицер-воспитатель, и старший из присутствующих кадет построил и повёл в корпус. «Лихая вольница» приняла свой обычный строгий облик. Стало как-то спокойно, почувствовав себя опять в привычном строю, в среде своих товарищей, снова в родном корпусе.

Переэкзаменовки я выдержал. Меня «за уши перетащили» в третий класс (как выразился директор корпуса, с которым свела меня судьба в 1949 году). Очевидно, за лето я выучил больше теннисных приёмов, чем ответов на арифметические задачи и слов на букву «ять».

В этот период, до приезда всех кадет, мы жили в помещениях 1-й роты. Вместе спали, обедали, вместе гуляли. Когда в уборной собирались курильщики, нас, малышей, выставляли на «шесть». Попался как-то и я на «махалку». Стою, стенку подпираю в коридоре и не спускаю глаз с дверей дежурки. Через приоткрытую дверь уборной просунулась голова восьмиклассника Бобки Фомина (XIX выпуск).

— Иди сюда. На, докури... — А сам ушёл.

Зашёл я в уборную, а все на меня смотрят, ну... я и затынулся — чуть глаза на лоб не выскочили, но сдержался, не подал виду, что первый раз курю. Осторожно затынулся ещё пару раз, и отдал Шурке Кравченко («Масику»), который просил «кечик»³². Так я начал курить.

В этом году в I класс поступил XXVI выпуск и кончал корпус XIX выпуск. Опять стало полных три роты. I и II классы — 3-я рота;

³² Оставить немного докурить, или на принятом жаргоне — «сорок».

III, IV(новый) и V классы — 2-я рота; VI, VII и VIII классы — в 1-й Роте Его Высочества. Нашим воспитателем остался полковник Н. В. Зиолковский, фельдфебель роты Алексей Нещерет («Дунька»), и «дядьки»: Алексей Попов («Слон») и Дима Иванов («Ивась», XIX выпуска), Владимир Гавлицкий («Маца», XX выпуска), Валерий Завальевский («Зайка») и Павел Наумов («Пая», XXI выпуска).

Год начался молебном в церкви и панихидой на кладбище. Борис Яценко был произведён в вице-унтер-офицеры и назначен фельдфебелем Роты Его Высочества. Когда возвращались с кладбища, полил дождь, и все промокли. По всем спальням на цигелях висели рубашки и брюки. Печей ещё не топили.

К нам в класс поступило несколько «новичков». Всех я не помню, но в памяти остались некоторые имена: Леонтий Белозубов («Лёнечка»), который приехал к нам из Бельгии, Николай Выдыхан, Алексей Лишенко, кажется, Валерий Мингин, и Александр Балевиц.

Маленькая спальня

В классе было больше пятидесяти кадет. Так как мы не смогли поместиться в одной спальне, то маленькую комнатку, которую обыкновенно занимали «дядьки», превратили в нашу спальню, а «дядьки» спали вместе с классами в больших спальнях. В эту отдельную комнату «звери» выделили самых «отпетых» кадет. («Говорят, что мы отпеты, по колено море нам».)

От дверей с левой стороны, головой к стенке, стояли шесть кроватей, на которых спали: Георгий Граф и рядом — Николай Сараев, через проход — я и Евгений Демьянюк, и через проход — Евгений Спокойский-Францевич («Спайк»), у стенки — Иван Капуста («Кочан»). Вдоль правой стенки — Володя Орловский («Орлик») и сразу около дверей спал Пётр Бурлаков («Пера»). Он был подстаршим класса, и его назначили к нам как старшего.

Комнатка была маленькой, тесной, но уютной. В проходах можно было еле-еле повернуться. В ногах у Бурлакова стояла печка, которая зимой действительно нагревала спальню. (Нам давали столько же дров и угля, сколько и в большие спальни.) Летом открывали окно и двери и устраивали сквозняк. (Назло мне, так как я ещё помнил, как мать боялась сквозняков.) У нас был свой дежурный по спальне, а список дежурств вёл «Пера», включая и самого себя. Почему-то я помню нашу «маленькую спальню» чистой и аккуратной. Возможно, что это воспоминание осталось у меня от частых «ловчений» под

последней кроватью, где спал Капуста. Там пол, как ни странно, был чистым, и когда я вылезал, то не надо было долго отчищаться от пыли. (Мелочь, а вот в памяти сохранилась каким-то образом.)

Всегда весёлый и готовый на любые шутки Юра Граф, молчаливый и угрюмый Коля Сараев (он был старше многих из нас), спокойный, шепелявивший Женя Демьянюк (мой сосед по парте, он хорошо учился, и я не знаю, каким образом он попал в компанию «отпетых»), живой проказник и весельчак Женя Спокойский-Францевич, здоровый покладистый силач Иван Капуста, хитрый забияка Володя Орловский и я, который не отличался особенными добродетелями, сплотились в один твёрдый кулак.

Жили мы дружно и весело. Выделив нас из класса, «звери» намеревались держать нас под особо строгим надзором, но этим же заставили нас ещё больше сплотиться в тесную и дружную семью, и дали нам возможность сохранить это, ещё детское чувство дружбы, на всю жизнь.

Несмотря на то, что дежурные офицеры-воспитатели к нам заглядывали значительно чаще, чем в другие помещения, у нас в спальне всегда что-нибудь случалось, и на укладке можно было увидеть кого-нибудь из нас, стоящего на штрафу. В начале года бедному «Пере» от нас доставалось. Он хорошо учился, прислуживал в церкви, был хорошим товарищем и обладал спокойным, терпеливым характером, но с нами даже у него это терпение лопалось. Чего мы только ему не устраивали. Подкладывали «мешок», подставляли кровать, устраивали дыру — вынимали среднюю доску, а крайние — раздвигали под матрацем (когда кадет ложился, то проваливался вместе с матрацем). Даже, как-то, налили ему воды на нижнюю простыню, и ему, бедняге, пришлось менять промокшую солому в матраце. Эти шутки производились не только с ним, мы также, если оказывалась возможность, проделывали то же самое и с другими товарищами.

Как-то раз, вечером, после того, как все умылись на ночь и стали укладываться в кровати, они начали разваливаться, пока все мы не очутились на полу. Всё произошло очень быстро: первым полетел Демьянюк (он первый залез в кровать), который толкнул меня, я зацепил Сараева, а он — Графа. Остались Капуста, Спокойский и Орловский, который, уже лёжа на полу, пихнул ногой кровать Капусты. Спокойского повалили «за компанию». «Пера» в это время спокойно лежал в своей кровати и «спал». Шум валившихся кроватей привлёк

внимание дежурного офицера-воспитателя подполковника Филимонова, который застал всех нас лежащих на полу.

— И...и...и... что это тут такое?.. — качая своей бритой головой, спросил подполковник Филимонов. И, не получив, конечно, ответа, строго приказал: — И..и...и... все — на штраф. А увидав «спящего» «Перу», добавил, уходя в «дежурку»: — И..и... кроме Бурлакова.

Наша семёрка выстроилась в коридоре. Запоздавшим с укладкой кадетам представилась довольно комичная картина: семь печальных физиономий в нижних рубашках и в ботинках на босую ногу. Опять «маленькая спальня» отличилась!

Спустя некоторое время из спальни вышел «Пера» и спокойно присоединился к нам. Я думаю, что это был единственный раз, когда он стоял на штрафу, и то по своей воле, из чувства товарищества. Мы удивлённо переглянулись, но стояли молча, перебирая в памяти прошедшие минуты и соображая, каким образом все кровати оказались подставленными.

Из «дежурки» вышел подполковник Филимонов и, увидав «Перу», удивился:

— И...и...и... Бурлаков, ты не должен стоять на штрафу, иди спать.

«Пера» молча продолжал стоять.

«Звери» — хитрый народ, и подполковник Филимонов, наверное, догадавшись, в чём дело, опять покачал головой и сказал:

— И...и... стой, если тебе так хочется. — И ушёл.

Через несколько минут он вернулся и отпустил нас со штрафа, приказав привести в порядок спальню.

На следующее утро мы узнали, что подполковник Филимонов не записал нашу проделку в журнал дежурств, и наказаний не последовало. Нас спас «Пера», став с нами на штраф. Ведь нельзя же было наказать «Перу» за то, что он сам стал на штраф.

Этот чисто товарищеский поступок Бурлакова, вероятно, произвёл должное впечатление на нас, так как я больше не помню особенных происшествий в нашей «маленькой спальне», кроме того, что Женьке Демьянюку на ротный праздник почему-то прибавили балл за поведение, и мы его поздравляли тумачами и «качали низом пуза»³³.

(Уцелевшая песчинка воспоминаний превратилась в целую «Сахару» благодаря Юре Графу и о. Петру Бурлакову, которые помогли мне восстановить многие подробности.)

³³ Качают, взяв за руки и за ноги, вниз лицом, держа за пояс, чтобы не ударить об пол.

Этот учебный год для меня оказался самым тяжёлым. Во-первых, прибавились новые предметы: немецкий язык, который я наотрез отказался учить, что привело к печальным последствиям (я уже об этом писал), и физика, которую преподавал Н. Я. Писаревский («Коля-пук»). Во-вторых, Мария Мечеславовна Кожина («Пакля») начала преподавать русский язык, и в-третьих, мне сбавили балл с моей несчастной «троечки» на «кол», за драку.

Новый IV класс состоял из бывших гимназистов, и тогда мы относились к ним с некоторым «презрением» — «шпаки»! (Я должен оговориться — потом это оказался наш последний традиционный выпуск.) Старшим класса стал Всеволод Михайлов, который при построении роты по общему ранжиру шёл впереди меня. У него вечно болтались плохо завёрнутые портянки, и я, зная, что умение аккуратно заправить портянку требовало практики, несколько раз его предупреждал, и он, выйдя из строя, их поправлял. Но это повторялось довольно часто, и мое терпение, а терпение и задор в тринадцать лет висят на тонком волоске, в конце концов лопнуло, и я наступил на волочившуюся его портянку. Он споткнулся и чуть не упал, толкнув меня, я — его, а потом пошли в дело кулаки. Порядок в строю нарушился, нас разняли. Беда в том, что всё это видел дежурный офицер-воспитатель полковник Ивановский («Иван») и записал в журнал. Мне сбавили балл, а Михайлов научился заправлять портянки. В течение долгого времени я ходил по коридору очень осторожно — вдоль стенки, опасаясь одноклассников Михайлова (Сева Каяндера), которые могли мне «намылить шею» за своего старшего.

Единственным утешением в этом году оказалось то, что историю начал преподавать Вадим Павлович Курганский, которого я потом полюбил, и не только я, мы все к нему хорошо относились.

Осенью я ещё кое-как занимался и получал удовлетворительные отметки, но как только проходила «хандра», сыпались опять «двойки». Гимнастика, рисование и некоторое время переплётная мастерская — занимали всё моё свободное время. В период «хандры» я писал. Сосед мой, Женя, тоже писал, и самое тяжёлое в нашей «писанине» оказалось... недостаток бумаги. Получить от «Кочи»³⁴ (полковника Зиолковского) лишнюю черновую тетрадку было невозможно

³⁴ Прозвище полковника Зиолковского было «Извощик», по—сербски — «Кочи-яш», кратко — «Коча».

— он был строгий и проверял каждый лист, но кадетская смекалка находила выходы и не из таких тяжёлых положений. Старую тетрадь делили пополам, наново сшивали, и по очереди, с некоторым интервалом, меняли обе на новые тетради. Так как «звери» иногда осматривали наши парты, то мы прятали наши тайные тетради в специально сделанную из картона полочку под партой. Мало кто, даже в классе, знал, что мы пишем стихи. Жаль, что они безвозвратно пропали, только некоторые сохранились в памяти или в альбомах, написанные на память.

Муза

Муза тройного союза:
Смеха, печали и слёз.
Жалкая, бедная муза:
Любви, надежды и грёз.

Нет у меня подруг.
Радость знавала мгновенья,
С музой вдвоём, мой друг,
Делим тоску и лишенья.

(1938 год, как я помню)

Радость знавала мгновенья,
Бедная муза, мой друг.
Чаще тоску и лишенье,
Муза мой верный досуг.

(Нашёл в чужом альбоме, но не от меня.)

Щедрая зима

Здравствуй, краснощёкая
Раскрасавица зима!
Ты, как родина далёкая,
Сердцу радость принесла.

Нет тебе подобной
Чистотой лица,
Красотой холодной
Радуеть меня.
Нет границы и предела

Щедрости твоей,
Раздаёшь алмазы снега,
Покрываешь льдом ручей.

Ты богатством и добром
Щедро рассыпаешь,
Жемчугом и серебром
Землю одаряешь.

Ты и лесу подарила
Шапку меховую,
Шапкой белою накрыла
Голову седую.

1939 год, февраль, Белая Церковь.

«Нет худа без добра»

Ещё в начале учебного года поймал меня наш «дядька» «Маца» Гавлицкий, когда я в парте жарил сало. Я был один в классе, все были на прогулке. «Маца» здорово рассердился, его чёрные брови над очками почти что сошлись:

— Завонял весь класс! Пошёл на штраф, надо было окно открыть!

Потушил я свечку, закрыл парту, открыл форточку и отправился на штраф.

Стою под стенкой около нашей «маленькой спальни», где висят портреты наших писателей и поэтов, начиная от Державина и кончая, кажется, Зайцевым, как раз напротив окна. На дворе солнечный осенний день. Играют в отбойку. На душе тоска... Знаю, что буду долго стоять, — «Маца» на пять минут не ставил.

Возвращается из класса «Маца». Посмотрел, как я стою, а потом перевёл взгляд на стенку позади меня:

— Иди на эту сторону. И поставил меня в пролёте между окнами, напротив портрета М. Ю. Лермонтова.

— Стой тут и смотри на своего родственника, да вспомни, что я тебе о нём рассказывал.

Как когда-то в «Славной Гвардейской Школе», имена Пушкина и Лермонтова занимали особое место, так и у нас. Их духовная сила, несмотря на столетнюю давность, несомненно, влияла на наши юные сердца и воспитывала в нас уважение и почтительность к старшим, что-то вроде рыцарского отношения к барышням и, самое главное, в

любви ко всему русскому: истории, литературе, искусству, обычаям и традициям.

Мой первый «дядька» Валя Мантулин зажёг во мне огонёк к познанию нашего «великого и могучего русского языка», а Володя Гавлицкий подлил масла.

В период, когда я «болел хандрой»: занимался, готовил уроки и получал приличные отметки, «Пакля» нам задала выучить на память стихотворение Лермонтова «Спор». Под конец вечерних занятий, с разрешения офицера-воспитателя, я вышел в пустой коридор и вслух начал учить стихи. Учить стихи на память давалось мне легко. Увлёкшись, я не заметил, как «Маца» вошёл в роту и, наверное, слышал, как я «зубрил». Я не помню точно, что именно тогда «Маца» говорил, но он был первый, кто мне рассказал о Лермонтове, как о нём лично, так и о его поэзии. «Маца» умел лучше всякой «Пакли» заинтересовать любой литературной или исторической темой; задеть моё любопытство и укорить лермонтовским родством; рассказать забавную историю из юнкерской жизни Михаила Юрьевича, или: как Пушкин выступал перед Державиным. На прогулках я всегда торчал возле него, пренебрегая футболом и отбойкой, и одноклассники начали меня называть «любимчиком», как называли Хоренко «любимчиком»³⁵ «дядьки» Димы Иванова (у Хоренко была старшая сестра в институте). Я помню, что «Маца» иногда называл меня «Маешкой», по прозвищу Михаила Юрьевича в юнкерском училище.

Итак, стою я напротив знаменитого тёзки, и в уме начинают складываться стихи, которые потом подлежали поправкам со стороны того же «Мацы», которому я их давал читать, и, как ни странно, «Пакли». (Это Женька, мой сосед, дал ей, без моего ведома.)

М. Ю. Лермонтову

Здравствуй, тёзка знаменитый!
Ты, стоишь неколебим,
Как утёс гранитный,
Миром почитаем и любим.

Песнь твоя столетья пережила,
Поколеньям радость принесла,
Славой родину покрыла,
Тебе имя создала.
Слыша твой столетний зов,

³⁵ Кадеты, к которым «дядьки» относились более благосклонно, но и строже наказывали.

Стоя смиренно на штрафу,
Я рифмую вновь—любовь
И тайком стихи пишу.

Тяжело мне на чужбине,
Жить с чужими, русским быть,
Русского кадета имя
С гордостью носить.

(1938 год, Кадетский корпус)

(Ещё одно кадетское воспоминание, связанное с именем М. Ю. Лермонтова, которое мне рассказал в 1948 году Владимир Васильевич Казимиров, кадет 44-го выпуска Донского корпуса. Кадет, получивший неудовлетворительную отметку за сочинение по русской литературе, рассердившись, разбил все портреты писателей и поэтов, которые у них так же висели в коридоре, как и у нас, за исключением Лермонтова, и когда его спросили: «Почему ты оставил Лермонтова?», он ответил: «А, он военный!»)

* * *

Я совершенно не помню вечера 2-й роты, посвящённого «Белому движению» (по «Памятке» — 13 ноября), кроме того, что я чуть было на нём не осрамился. «Пакля» всучила мне стихотворение Константина Оленина «Спите, орлы боевые», которое я должен был выучить и говорить на вечере. Выучить-то его я выучил — коротенькое, но когда пришло время его говорить, произошла неприятная заминка. Выпустили меня перед занавесом (на сцене что-то меняли или переставляли), и когда я очутился перед полным залом, где в первом ряду сидел «Генпоп» и начальница института Н. В. Духонина («Ева»³⁶), воспитатели и преподаватели, а позади — институтки и кадеты, и все смотрели прямо на меня, — я опешил, на минуту растерялся. С задних рядов раздались смешки, и в первом ряду я увидел «Паклю», которая, как мне показалось, ехидно улыбалась и кивала головой. Кто-то из первого ряда, видя моё замешательство, спросил: «Что ты будешь говорить?» Это меня вывело из оцепенения, и я, придя в себя, начал декламировать.

Первое выступление на сцене, первая робость, первый страх,

³⁶ Первого директора нашего корпуса генерал-лейтенанта Б. В. Адамовича, кадеты называли «Адамом», и было совершенно понятно, почему начальницу Донского Мариинского института называли «Евой».

которые я впоследствии научился скрывать, но никогда не мог окончательно от них избавиться, сохранились в моей памяти каким-то совершенно непонятным чудом.

Или — или

Мои увлечения — гимнастика, рисование и переплётное дело — занимали большую часть моего свободного времени, и сейчас, обернувшись назад, я знаю, что корпус, предоставив нам возможность развивать наши таланты по своему личному желанию, углублял в этих отдельных ячейках чувства товарищества.

У меня остались особо тёплые воспоминания о моих одноклассниках: об «Урлике» Ульяновце, о «Нике» Боголюбове и «Китайце» Хоренко, которые были со мной в художественном кружке.

На уроках рисования (после обеда два урока подряд) мы единственные не выходили на перемену, а оставались в классе, не в состоянии оторваться от любимого занятия. Начинали мы рисовать карандашом, потом углём, и в конце — акварелью. Игоря Хоренко («Китайца») я плохо помню, он любил яркие краски, без определённых рамок. «Урлик» сидел недалеко от меня, и я до сих пор помню его толстую кисточку, которой он мог протянуть тонкую, как волосок, линию. Рисовал он размашисто, уверенно и всегда с азартом.

— «Гулька», п...п...посмотри, как небо с...с...с...ветится! — И его толстенная кисточка ходила, заполняя ультрамарином весь рисунок от одного до другого края. «Ника» сидел в противоположном ряду у окна.

Был период, когда мы все увлекались цветами, в особенности, рисуя программки к корпусным вечерам. У «Ники» они получались особенно живые. Как он умудрялся достигать этих красок при его грязной палитре, я до сих пор не понимаю.

Вот ещё одно необъяснимое воспоминание. Своей палитры не помню, а «Никина» — как живая, до сих пор в памяти — вся в темных подтёках, грязных красках, и губы у него вымазаны с правой стороны рта той же краской. Мы все обсасывали кисточки, чтобы получить острый конец, и делали это совершенно машинально, и результат этого мы могли видеть только глядя друг на друга (я не помню ни одного зеркала в помещении роты).

Будет несправедливо по отношению к моим товарищам, если я не напишу о себе.

Самое большое впечатление, в период, когда я начал рисовать,

на меня оставляли рисунки Билибина. В том же духе я и продолжал: обводил контур и заполнял краской. Наши удачные композиции на эту тему выставлялись в коридоре.

Так как мы рисовали только акварелью, она, цепляя контур, нарисованной тушью, расплывалась, и получалось что-то вроде «Никиной» палитры. Мне пришлось, несмотря на то, что я старался быть очень аккуратным, изменить порядок: сначала рисовать акварелью, а потом обводить тушью. Я скоро перестал рисовать акварелью, хотя и приходилось рисовать на уроках и готовить программки. Наш преподаватель М. М. Хрисогонов всегда повторял: «Наложил краску и оставь, не трогай больше!» Мне этот совет не подходил, мне всегда хотелось где-нибудь подправить, затемнить или засветить, и получалась грязь. Карандаш и туш преобладали в моих рисунках до конца года.

Искусство рисовать погончики у нас стояло на высоком уровне, и мы просиживали часами, нанося на маленький (1/2 сантиметра на 1—1/2 сантиметра) медный погончик, покрытый малиновой краской, наш вензель. Я помню, как «Урлик», обливав свою толстую кисточку так, что на кончике оставалось два-три волоска, выводил этот замысловатый узор. В этом году я привёз мои краски и кисточки, которые здоровогодились. Самой тонкой из них я рисовал наш вензель, — получалось неплохо. Большинство погончиков, которые я выменивал за «коржики», уходили институткам и также на обложки альбомов и дневников, украшенных спиленным сиянием с наших гербовых пуговиц. (За что строго наказывали.)

Выделенные в инструкторскую группу: де Бодэ, Артонов, Балашев, Ульянов и я, став наследниками поколений блестящих гимнастов корпуса, с особым уважением относились к нашим старшим гимнастам (в моё время одним из инструкторов на уроках гимнастики всегда был старший кадет класса). Между нами на этой почве устанавливались более тёплые отношения.

«Переплётка» находилась в Полтавском коридоре в столовой 1-й Роты Его Высочества. Для того чтобы туда попасть, надо было пройти мимо дверей гимнастического зала. Каждый раз, направляясь в «переплётку», я не пропускал случая попробовать: закрыта ли дверь в гимнастический зал. Если закрыта, я шёл в «переплётку».

Хотя в этом году я и не был самым младшим, но мне часто доставалось варить клейстер. Наверное, старшим переплётчикам понравилось, как я его варил в прошлом году. Кроме этой «важной» части переплётного мастерства, я лепил прозрачной бумажкой порванные

страницы в книгах, сшивал их, но мне ещё не давали делать обложки, лепить уголки и обрезать шитые на станке книги. Но я не подметал «переплётки», — это была работа Жоржа Козловского («Козла», XXV выпуск). Переплетали мы, главным образом, наши растрёпанные учебники, изредка, тайком, собственные альбомы, дневники и альбомы с «паутинкой» для фотографий. Старшие переплётчики меня вводили во все премудрости переплётного дела, но Жорж, который уже переплетал бархатные альбомы, был моим главным инструктором. Под его руководством, в прошлом году, я себе смастерил тоже альбом, правда, не из бархата, а в малиновом коленкоре. Вот только было жаль, что обрезал я его немного кривовато, но под обложкой это не было так видно — сошло!

В комнате стояли тяжёлые столы, полки с инструментами и книгами. Отдельно стоял громадный чугунный пресс с опускающимся стальным ножом для обрезки книг, печка, на которой варился клейстер, а все углы были завалены книгами, бумагой и картоном. Было тесно, но уютно. Можно было спокойно покурить, — «звери» к нам не заглядывали, а руководитель «переплётки» полковник А. Н. Азарьев редко появлялся, и то ненадолго.

Как ни странно, воспоминание, которое сохранилось в памяти, совершенно не относится к переплётному делу, но произошло это в «переплётке». «Подрались» два силача XX выпуска: Александр Скивский и Леонид Кисиль. Что они не поделили, я так и не узнал, но когда они вцепились друг в друга, и началась борьба, то мы с «Козлом» залезли под тяжёлый пресс, в надежде, что нас там не заденут, но ошиблись. Под натиском этих двух громадин стол трещал, а пресс шатался. Они не дрались, а скорее боролись, и «сметали всё на своём пути». Столы переворачивались, с полок всё падало, стопки книг летели во все стороны, и я не знаю, чем бы эта борьба закончилась, если бы мне не удалось выскочить в коридор и хлопнуть дверью. Я не ушёл, любопытство заставило узнать — чья возьмёт. Я спрятался рядом, в прихожей лазарета. Очевидно, шум захлопнувшейся двери остановил их борьбу, так как оба они выскочили из «переплётки», поправляя одежду, и быстро ушли. В этот вечер я помогал Жоржу убирать «переплётку»: поднимали столы, собирали разлитый клейстер, ставили всё на свои места, и опоздали на вечерние занятия. Было обидно — получили по наряду за опоздание, конечно, мы умолчали о настоящей причине опоздания.

Вернусь назад. Дверь в гимнастический зал оказалась открытой.

(Пропала моя «переплётка»!). Если там никого не было, я, раздевшись, занимался гимнастикой до звонка. Прямо напротив дверей с потолка свисали кольца; справа у стенки — параллельные брусья; у правой стенки, ближе к середине — турник; у стенки с окнами — канаты. Если там занималась старшая группа без полковника Барышева, «Шарик» Лобов или кто-нибудь из старших гимнастов разрешали мне остаться и смотреть, как они ставят стойки, крутят «солнышко» и упражняются. Во время их отдыха мне разрешали показать им, что я умею, и давали важные советы, как брать скобку на турнике не силой, а махом — ловкостью, и так же на параллельных брусьях, где не так от силы, как от умения и ловкости многие упражнения даются гораздо легче. Эти «частные уроки» мне принесли больше пользы, чем все уроки гимнастики с полковником Барышевым, который как-то, застав меня в зале, отправил явиться дежурному офицеру-воспитателю. Такие самовольные поступки не разрешались. Опять наряды!

Как-то сам по себе мой интерес к переплётному делу угас, и я всё реже и реже бывал в «переплётке». «Третий» оказался лишний, — рисование и гимнастика заняли всё моё свободное время.

Физическое явление

Николай Яковлевич Писаревский («Коля-пук») сумел заинтересовать меня физикой. Полный, медленный как в движениях, так и в разговоре (с ударением на «о»), он приносил в класс разные приборы, колбочки, пробирки, и показывал, как многие из нас говорили: «фокусы». Когда его просили: «Николай Яковлевич, покажите нам фокус», он поднимал свой пухлый палец и с медленным спокойствием поправлял: «Это не фо...окус, а физическо...ое явление». Конечно, наш «кадетский глаз» подметил его медлительность, и над ним подшучивали. После урока, когда он возвращался в учительскую, кто-нибудь его нагонял и, похлопав по плечу, задавал глупый вопрос, вроде: «Николай Яковлевич, почему кошки едят мышей?» Он останавливался и медленно поворачивался в ту сторону, где его похлопали. (У него голова поворачивалась только вместе с туловищем.) Пока он поворачивался, кадет успевал забежать на другую сторону и, похлопав его опять по плечу, задать тот же глупый вопрос. Повторялась та же самая картина.

Многое необъяснимое мне стало понятным, но моё тринадцатилетнее любопытство требовало всё больше и больше. Как ни странно, но по физике у меня были приличные отметки, попадались даже

и «четвёрки». (Это было только начало физики.)

После того как Семён Николаевич Боголюбов («Сёмка»), преподаватель природоведения, нам рассказал о вулканах и землетрясениях, кто-то предложил спросить Николая Яковлевича: «Можно ли землетрясение назвать физическим явлением?» Не все относились к физике с таким любопытством, как я, и устроить Николаю Яковлевичу «бенефис», как выражались наши старшие кадеты, ничего не имели против.

Решили — сделали. Не помню, кто это начал, но знаю, что всё зависело от сидящих на задних партах. В классе с высокого потолка свисали четыре электрических лампочки, которые перевязали тонкой ниткой, и два конца спустили сидящим по углам на задних партах. Они должны были по очереди тянуть эти нитки, равномерно раскачивая все четыре лампочки. Когда Николай Яковлевич, открыв журнал, приготовился вызывать, лампочки начали медленно и равномерно раскачиваться. Раздались возгласы: «Землетрясение! Физическое явление!» Многие вышли из-за парт и качались в такт лампочек. Тем временем Николай Яковлевич старался посмотреть вверх. Как ему было тяжело смотреть по сторонам, так же было тяжело смотреть и вверх. В классе наступил беспорядок и поднялся шум — урок был сорван.

Николай Яковлевич, спокойный и уравновешенный, старался успокоить класс, но его никто не слушал. «Землетрясение» увеличивалось, и лампочки раскачивались почти от стенки и до стенки. Громкая команда «Смирно!» вошедшего в класс дежурного воспитателя (кажется, капитана Трусова) застала всех врасплох — не на своих местах, а лампочки продолжали качаться.

Так как виновных не оказалось, весь класс сидел без отпуска, а Николай Яковлевич, впоследствии, на уроках, откидываясь назад, ещё долго поглядывал на мирно висящие лампочки.

«Шеря», есть?.. «Шеря», принёс?..

После Корпусного праздника усиливалась переписка с институтками. В этом «козлином» возрасте, когда мы, ещё не понимая причины, начинаем смотреть на девушек «другими глазами», когда они становятся частым предметом наших мечтаний, когда при малейшем воспоминании о них вдруг начинаем глубоко вздыхать, появляется необъяснимая потребность им об этом поведать. Несмотря на запрещение, рискуя строгим наказанием, «письма» (скорее записочки) от-

правлялись в институт. Страдали опять общие тетрадки. Запасливые ухажёры иногда делились с новыми, «влипшими по уши» кадетами толстой розовой бумагой, на которой они, вздыхая и кряхтя от натуги, выводили: «Прелестная Танечка!», и, поставив восклицательный знак, долго не могли придумать, как начать письмо. Получалось что-то вроде: «У нас хорошая погода, а какая у Вас?» Никто нас не учил писать письма, писали, как Бог на душу положит, и получалось что-то вроде песенки из лубка «Крестьянская идиллия»:

Помнишь, Акулька, мгновенье
Нам взволновавшее кровь?
Первое наше сближенье,
Первый намёк на любовь?

Ты меня, милый, лопатой
Сильно огрел по спине.
Вскрикнувши: «Чёрт полосатый!»,
Я улыбнулась тебе...

Я определённо потел от натуги, когда писал мои первые письма в институт, но совершенно не помню, кому. Письма писали под большим секретом, во избежание задир, которые нам вспоминали Акульку. Все товарищеские узы кончались, когда дело касалось «дамы сердца». Благодаря этому, некоторые институтки — покрасивей — переписывались с несколькими кадетами (так же и кадеты). Я писал и стихи, это было легче. Спустя несколько лет и переделок, эта «записка» превратилась в целое письмо:

Дорогая, или милая, или прелестная, Таня, или Маня!
(*В зависимости от степени влюблённости в 13 лет*)
Я удивил Вас неожиданною запиской?
Пожав плечом, с небрежною улыбкой
Возьмёте Вы её, готовясь прочитывать
Банальные признанья и упрёки.
Неспешно вскрыв конверт, начнёте пробегать
Неровным почерком написанные строки.

(1938)

Многие мои письма начинались этими строчками, поэтому я

их запомнил. Ответы я получал, так как в моей тетрадке под партой хранилось несколько записочек, написанных прямым высоким почерком на простой тетрадной бумаге. Мы писали, коверкая почерк, и подписывались вымышленными именами, цифрами и условными знаками. Если письма попадали в руки «зверей», то они не могли найти автора.

В этот период наш бедный «почтальон» Николай Шереметов («Шеря»), бывал нагружен до отказа. «Шеря» был приходящим — жил дома и приходил в корпус только на уроки. У него была какая-то лазейка в институт, так как за все годы нашего совместного пребывания в корпусе его ни разу не поймали. Кроме того что он передавал письма в институт, «Шеря» ещё и покупал курильщикам папиросы. Он был одним из тех кадет в классе, которых любили. В чёрной рубашке на выпуск, с туго застёгнутым поясом, всегда весёлый, любитель попеть, с чёрным портфелем, куда между его книжками вмещалась кадетская «почта». Никому не отказывал в рискованных передачах, и мы это ценили. Исполнял он это совершенно безвозмездно, — его коржиками и котлетами не соблазнишь — ел дома. Иногда он морщился, когда Жорж Козловский («Козлич») передавал ему целую черновую тетрадку, а не записку, но брал, — и «почта» доходила.

Утром, перед первым уроком, когда уже все сидели по классам в ожидании преподавателя, у дверей в коридор собирались «курильщики» и «переписчики», выглядывая в ожидании «Шери». Не только из нашей двери, но из всех классов высовывались озабоченные лица, ожидавших передачи. И не успевал еще «Шеря» показаться в дверях коридора, как со всех концов приглушенным шёпотом сыпались вопросы: «“Шеря”, принёс? “Шеря”, есть?» «Шеря» улыбался, одобрительно кивал головой и махал на них рукой, чтобы шум не привлёк внимание дежурного офицера воспитателя.

(Свела меня судьба провести с ним жестокие годы войны, и слова: «“Шеря”, есть? и “Шеря”, принёс?», всегда вызывали улыбку на его лице, а у меня — связанные с ним воспоминания о родном корпусе.)

* * *

Корпусной праздник

Чем ближе приближался Корпусной праздник, тем чаще выводили нас на строевые занятия. В хорошую погоду — на поле перед корпусом, а в плохую — в коридоре. Гоняли нас «дядьки», но если выходила целая рота, то командовали офицеры—воспитатели:

— Первый взвод, на двухвзводную дистанцию, равнение направо, правое плечо вперёд, шагом марш!

Эта команда до того въелась в память, что я её и во сне слышу.

В этом году здорово досталось «новичкам», нашему IV классу, — гоняли их, когда только можно было. Мы все беспокоились, чтобы они нас не подвели.

Кроме строевых занятий, многие из нас учились танцевать (друг у друга), что обыкновенно происходило в коридоре (урока танцев у нас не было). «Дядьки» и офицеры-воспитатели учили нас манерам и обращению с нашими дамами. Под «раз... два... три» — «шерочка с машерочкой», выписывая разные «кренделя», мы старались выучить наши старинные танцы: польку, польку-бабочку, *pas d' Espagne*, краковяк, миньон и, конечно, вальс. Желание научиться танцевать у меня появилось ещё прошлой зимой на «Ёлке», когда все мои скоплянцы танцевали, а мы с «Лёшкой» Леонтьевым подпирали стенки. Я ещё с детства любил танцевать, и, помня, как дядя Коля Дикий научил меня танцевать лезгинку со стаканом воды на голове, сейчас воспринимал все танцевальные «па», как гимнастические приёмы, которые надо исполнять точно, легко и красиво, как «Шарик» Лобов. Часто упражняюсь с Сашей Шпорой или с Колей Балашевым, мы дошли до того, что крутили вальс на вытянутые руки, и по прямой линии. Одним из лучших танцоров в классе стал наш «Лёничка» Белозубов. Кроме этого, он стал старшим класса по новому приказу по корпусу: кадеты, имеющие больше «пятёрок», чем «четвёрок», и «пять» за поведение, получали поперечную нашивку на погоне, и автоматически становились старшими в классах, а у Белозубова были все «пятёрки», кроме гимнастики. Это чисто академическое постановление не всем пришлось по вкусу, и бедный «Лёничка» первое время страдал — ведь он был ещё «новичком». Мы все ещё относились с полным уважением к «Коту» де Боду.

За два дня (4 декабря, новый стиль) до «Корпусного», как мы называли Корпусной праздник, производилась генеральная репетиция «Зари» и парада, и также репетиция музыкального выступления, на котором присутствовали кадеты 2-й и 3-й рот и институтки млад-

шего возраста. Это был наш Корпусной бал, который по программе ничем не отличался от бала в день праздника, когда присутствовала только Рота Его Высочества, институтки старших классов и приглашённые гости. На репетиции присутствовал «Генпоп», но не было «Евы», начальницы института Н. В. Духониной, а пришли классные дамы. Во время репетиции делали много фотографий. Почти после каждого выступления полковник Барышев с «Шариком» Лобовым выносили аппарат и устанавливали его в проходе, тушился свет, и раздавалась вызывающая у всех кадет улыбку команда полковника Барышева: «Вспышка!» Был слышен сухой щелчок. Вслед за тем весь зал единогласно, но тихо, провозглашал: «Осечка!»

В темноте слышались какие-то непонятные звуки, — это наши ухажёры, пользуясь темнотой, за спинами классных дам передавали письма. Часто осечка повторялась несколько раз, и когда магний в конце концов вспыхивал, заставлял позирующих врасплох — с открытыми ртами, удивлёнными лицами и вытаращенными глазами.

Перед самым концом программы, в одну из таких осечек, у «Шарика» выпали запасные плёнки, наделав много шума. А так как я сидел тут же в проходе, «Шарик», подобрав их, сунул их мне. Когда зажгли свет, «Шарик», взяв аппарат, сказал мне следовать за ним. Мы вышли из зала в коридор, где он мне передал аппарат и, с разрешения полковника Барышева, ушёл переодеваться для выступления в гимнастической «девятке». Полковник Барышев приказал мне явиться к нему в день Корпусного праздника, чтобы заменить Лобова, когда он будет выступать. Я на это согласился, от неожиданной радости. Да, повезло... Я попал на бал Роты Его Высочества, и видел программу не один раз, а два. Но все-таки не всё запомнил³⁷.

Для того чтобы не повторять программу этого знаменательного концерта, я его опишу, присутствуя на нём в день Корпусного праздника, а сейчас продолжу наш «Корпусной».

На генеральной репетиции концертная программа закончилась выступлением гимнастов. И когда громкие рукоплескания немного смолкли, раздалась команда командира 2-й роты полковника Филимонова:

³⁷ Конечно, я не помню всех имён и подробностей как концерта, так и бала (ведь я забыл даже, если знал, имена своих дам), и поэтому считаю товарищеским долгом поблагодарить В. Мангулина, который с помощью А. Лашкарёва, Д. Иванова и С. Муравьёва — кадет XIX выпуска и других однокашников, восстановил программу концерта и подробности бала.

— Кадеты, приглашайте ваших дам на чай!

Отодвигая скамейки, первые смельчаки кинулись к ещё сидевшим институткам. Вежливо поклонившись, как нас учили воспитатели и «дядьки», приглашали своих дам, которые, изящно приседая в положенном реверансе, клали свои ручки в «кренделем» выставленную руку кадета, — и все парами выходили из зала. Нет! Я ещё не был готов к этому. Схватив скамейку, как многие «подпиратели стенок», я понёс её в столовую, с расчётом, что, когда я вернусь, уже разберут всех институток. В это время длинная колонна белых рубашек и белых пелеринок на голубых формах направлялась в столовую Роты Его Высочества и в гимнастический зал, из которого заблаговременно были вынесены все снаряды и внесены столы для чая с «наполеонами».

Когда мы вынесли скамейки и расставили кресла и стулья в зале, нас отвели в гимнастический зал и посадили на пустые места за последним столом. Уже пропели молитву, — и все ели и тихо разговаривали. Меня втокнули в ту сторону стола, где последней сидела институтка, и я оказался единственным из нашей «братии», сидящим рядом с чужой дамой. Когда я садился, то нечаянно зацепил локоть соседки... и извинился:

— Простите, пожалуйста.

Она обернулась (о Всевышний, опять голубые глаза, и опять блондинка!) и, улыбнувшись, тихо ответила:

— Ничего... — И убрала локоть.

На другой стороне стола, напротив меня, сидел Алёша Леонтьев, один из не танцующих, это я хорошо помню, а вот кто сидел справа от него с институткой, не помню. Не то что забыл, а просто не помню, и хочется вспомнить, потому что он смешил институток разными комическими историями из нашей кадетской жизни.

Сейчас, вспоминая этот момент, я предполагаю, что это мог быть кто-нибудь из тех кадет, у которых были сёстры-институтки, так как они умели вести себя в присутствии женского пола: Константин де Бодэ, Женя Спокойский-Францевич, Шура Верчик, Коля Сараев, Игорь Хоренко или Миша Табуч-Ющенко, а также Юра Григорьев, у которого сестры не было, но он мог и мёртвого рассмешить. Единственные две дамы за нашим столом сначала улыбались, потом начали сдержанно «фыркать», и, не выдержав тона, откровенно смеялись. Классная дама, которая сидела к нам спиной за следующим столом (на наш, наверное, не хватило, потому что за остальными столами

сидели или «звери», или «классидры»), несколько раз поворачивалась в нашу сторону и строго посматривала на наших развеселившихся дам.

Туман... густой туман времени заволок лица этих двух институток, но даже в этой мгле я до сих пор могу разобрать профиль моей маленькой соседки с непослушным курчавым локоном, который она постоянно старалась подсунуть под гладко причёсанные волосы, и каждый раз, толкнув меня в плечо, извинялась:

— Простите, пожалуйста.

И я каждый раз отвечал банальным:

— Ничего...

Как будто со старой выцветшей фотографии мне чудится лицо институтки на другой стороне стола с более тёмным цветом волос и глаз на круглом лице, с маленьким носиком и ртом в широкой улыбке. Она держит перед собой кружку с чаем, изящно изогнув мизинчик.

Не покажется ли читателю это глупо? Но факт, — это то, что сохранила постаревшая память: «простите, пожалуйста», «ничего» и «мизинчик». Может быть и глупо покажется со стороны, но мне дороги, очень дороги эти четыре слова.

Одинокó вернувшись в зал, я увидел, как кадеты отводили своих дам и, усадив их на кресла под крылышко классных дам, отчётливо кланяясь, отходили к противоположной стенке.

Бал начался традиционным «коло»³⁸. Мы танцевали под рояль и старый граммофон, который не всегда было слышно, но это совершенно не мешало нам выделять наши «па», независимо от ритма музыки и такта. После «коло» следовал первый вальс, а потом по программе остальные танцы, включая гвоздь танцевальной программы — «Котильонный вальс». Модные танцы того времени у нас запрещались, но старшие кадеты незаметно отводили своих дам в глубину зала, под самый Кремль, и под прикрытием «запорожцев», не танцующей толпы кадет, в такт польки танцевали фокстрот.

В тот далёкий период ещё непонятных чувств и переживаний, я в присутствии институток был застенчив, стеснялся. Побороть эту робость и перейти это пустое «колоссальное» пространство до противоположной стенки, поклониться и пригласить совершенно незнакомую институтку на вальс — казалось невозможным, и я стоял

³⁸ Хоровод — национальный югославянский танец. Мы танцевали «Кралево коло».

и «подпирал стенку». Наверное, я бы остался там стоять в течение всего бала, если бы не полковник Филимонов. Заметив, что я не танцую, взял меня «за шиворот» и подвёл к институтке. Я поклонился, она встала и сделала реверанс, и мы начали танцевать. Что мы танцевали, что мы говорили, как её звали, ничего не помню — наверно не промолвили ни слова. Этот первый шаг оказался не таким уж страшным, и, набравшись храбрости, я начал приглашать и других институток на танцы. Танцевать подряд с одной и той же дамой не полагалось. Когда начинала играть музыка, вся ватага кадет бросалась к институткам. Запоздавшие возвращались назад с пустыми руками. (Институток было значительно меньше нас.) Несколько раз я старался найти тех весёлых институток, с которыми сидел за чаем, но безуспешно. После многих неудачных попыток мне всё-таки удалось кого-то пригласить на вальс. Когда моя дама встала и сделала реверанс, у меня ёкнуло сердце: она была пухленькая, круглолицая, с маленьким вздёрнутым носиком, но с голубыми глазами. (Везло мне на голубые глаза.) Вопреки моему предчувствию, она легко и свободно танцевала и наперёд угадывала мои движения. Мы обходили круг за кругом, не останавливаясь и не переводя дыхания, и я был очень огорчён, когда нам надо было покинуть зал.

Много-много лет спустя, мне кто-то сказал, что, возможно, это была наша одноклассница Березнева.

Вечером, после укладки, в нашей «маленькой спальне» никто не спал, — и это вполне понятно. Впечатления и переживания мучили, и надо было с кем-нибудь поделиться. «Орлик» Орловский никак не мог себе простить, что он наступил своей даме на ногу; «Спайку» Спокойскому-Францевичу так и не удалось потанцевать с той институткой, с которой он хотел, и он был готов «вызвать на дуэль» кого-то из IV класса, кто танцевал с ней три раза, что не полагалось; Коля Сараев воздержался от собственных впечатлений, но зато передал последние институтские «сплетни», полученные от сестры «Пеночки», касавшиеся главным образом старших институток и предстоящего Корпусного вечера; Женька, мой сосед, «влип»³⁹ в институтку с родинкой на лице, и когда я его спросил: «Где на лице, и на какой стороне?», он запутался — так и не вспомнил.

На следующий день (5 декабря, новый стиль), в канун Корпусного праздника, уроки продолжались, но преподаватели, понимая, в каком приподнятом настроении мы находились, не проявляли

³⁹ Влюбился.

особой строгости. (Я, например, дорисовывал программки-папки, которые мне всучили в последнюю минуту.) Ужин подавали раньше. Возможно, это была традиция, так как в течение всех лет, что я был в корпусе, в этот день на ужин всегда подавали фасоль с томатом. («Пасул са пастермом» тётки Харитины, что давало повод острякам каламбурить: «Фасоль с томатом и заря с церемонией».) После ужина переодевались в парадную форму и шли в церковь. Служба торжественная, иногда служили несколько священников. После всеобщей возвращались в помещение роты только для того, чтобы взять фуражки и последний раз привести себя в порядок перед построением на «Зарю».

Построившись поротно, по общему ранжиру, и удвоив ряды, мы спускались в коридор Роты Его Высочества и становились на левом фланге, а к нам пристраивалась 3-я рота. На правом фланге Роты Его Высочества размещался оркестр, а за ним, поперёк коридора, стояли старые кадеты-гости. Выровнявшись по линии, начерченной на полу, батальон стоял «вольно».

Старший офицер Роты Его Высочества полковник Н. А. Чудинов («Чудо»), командующий батальоном, подает команду:

— Батальон смирно! Равнение налево! Господа офицеры!

И направляется вдоль строя навстречу директору корпуса.

Оркестр начинает играть встречный марш «Наш полк», и из своего кабинета, в конце коридора, выходит директор корпуса генерал-майор А. Г. Попов, в парадной форме с орденом св. Владимира 3-й степени над левым карманом, под которым наш корпусной значок, а на правом кармане — академический значок. Седые волосы подстрижены под машинку, как у нас; гладко выбритое спокойное лицо, и на носу пенсне; тёмно-синие бриджи и до блеска начищенные сапоги на выгнутых ногах «по-кавалерийски»; шаг — спокойный и лёгкий, как по воздуху идёт. Его сопровождает дежурный по корпусу кадет, который несёт в руке приказ и пакет с нашивками.

После рапорта, во время которого оркестр замолкает, полковник Чудинов сопровождает директора корпуса до середины батальона, откуда директор корпуса обращается с речью, которую я, конечно, не помню, но подобные речи всегда были воспитательно-исторического содержания (генерал А. Г. Попов преподавал историю в старших классах). В конце речи директор вызвал исполняющего должность фельдфебеля Роты Его Высочества вице-унтер-офицера Бориса Яценко и произвёл его в вице-фельдфебели, вдевая под по-

гон золотую нашивку. Потом, по старшинству, последовали производства в вице-унтер-офицеры старших кадет: Ратнова Александра (знамёнщик), Мантулина Валентина, Образа Романа, Сцепуржинского Федора и Фостикова Юрия. Я запомнил всех, даже в «Памятку» не надо было заглядывать.

Мне было видно, как вызванные старшие кадеты выходили из строя и, подойдя к директору, брали под козырёк; как директор вдевал «лычку»⁴⁰ под погон, поздравлял, и они становились на правый фланг роты опять под звуки музыки «Наш полк». Когда им директор провозгласил «Ура!», я со всем строем так громко кричал наше кадетское «Ура!», что пламя в лампадке колыhalось. Я был несказанно рад и чуточку горд за Валю Мантулина, — наш «дядька», мой «дядька»!

Со слабой надеждой ожидал я приказа по корпусу, который читал полковник Чудинов, где перечислялись все назначения, производства и прибавки баллов по поведению. Нет, мне не прибавили — крепко стоял мой «кол».

Потом дружно, с большим подъёмом, вместе с оркестром пропели «Наш полк», фельдфебели рот произвели поверку, прочитали наряд на завтра, и после того как горнист сыграл с оркестром «Зарю», пропели «Коль славен» и «Песнь Дворянского полка». Сняли на молитву фуражки, и под заданный тон запевалы («до-ля-фа») спели «Отче наш» и «Спаси, Господи...» Церковник прочитал «Великое поминание», начиная с Государя Императора Александра Павловича. Вслед за командой «Накройсь!» надели фуражки, директор корпуса пожелал спокойной ночи, на что мы дружно ответили:

— Покорно благодарим, Ваше Превосходительство!

Горнист звонко играет «Отбой». Наша 2-я и 3-я роты уходят в свои помещения. Мы не успели подняться по лестнице, как внизу прокатилось громкое «Ура!». Это Рота Его Высочества «качала»⁴¹ произведённых.

(Личная вставка. Когда я, проверяя, прочитал до сих пор написанное, мне бросилась в глаза совершенно машинально напечатанная перемена обращения. В описании нашей повседневной жизни я всегда писал «Генпоп» — привык, по-другому я его и не называл, а

⁴⁰ Золотая тесёмка.

⁴¹ Тесным кругом подымали кадета на руки и подбрасывали, принимая его опять на руки.

тут вывел даже его полный титул. Потом сообразил: строй! Строй — святое место! Вот въелось, и до сих пор держится!)

В день праздника св. благоверного Великого князя Александра Невского, 6 декабря (новый стиль), утром и потом весь день давались особые сигналы — «Русская побудка». Я хорошо помню, как их особенно красиво подавал Назаревский Костя или Макаров Юра («Микица», XXII выпуска). Их всегда можно было отличить от других горнистов.

За утренним завтраком нас ожидал приятный сюрприз: старые кадеты, которых мы вчера видели мельком на «Заре», расселись между нами за столами. Приезд «стариков» на Корпусной праздник родного корпуса ещё раз подчёркивал ту неразрывную связь между всеми кадетами Княже-Константиновцами, независимо от возраста и положения. Часто среди младшей 3-й роты XXVII — XXVIII выпусков сидели кадеты X или XI выпусков, и по традиции, требуя от малышей обращения к ним на «ты», этим вовлекая их в одну традиционную семью, создавали родственное чувство принадлежности к одному большому *Гнезду*.

За моим столом не было «стариков», но за соседним столом сидел в форме юнкера Югославянской Военной Академии Костя Курицкий, XVIII выпуска, рядом со своим младшим братом Димой, моим одноклассником. Костя, которого я ещё помню вице-унтер-офицером, лучшим гимнастом корпуса, а сейчас он — юнкер, — это всё то, о чём я мечтал в одном лице. Когда мы встали на молитву, на моём месте остался недопитый чай и кусок недоеденной сладкой булки, которую «Лёшка» Леонтьев ловко подобрал и сунул в карман. Мне было не до еды, когда передо мной сидел мой кумир, да ещё на «Корпусной».

После завтрака мне пришлось сходить в цейхгауз и выпросить у вахмистра чистую парадную рубашку, так как я свою закапал чаем, наверное, засмотревшись на Костю. Вахмистр всегда скажет что-нибудь приятное:

— Раззява, вот тебе настоящая рубашка, носи, не марай!

Рубашка действительно оказалась тонкого шерстяного полотна, со старыми «червонными»⁴² гербовыми пуговицами, которую я потом долго носил, пока не вырос. Я успел начистить пуговицы так, что они блестяли, как звёздочки, и когда нас выстроили двойными

⁴² Пуговицы из красной меди (ещё из России).

рядами, чтобы идти в церковь, фельдфебель роты Алёша Нещерет выставил меня в первую шеренгу (я уверен — пуговицы помогли).

Литургия прошла торжественно. Много нарядно одетых гостей, все офицеры-воспитатели в парадной форме, с орденами, на форме произведённых накануне вице-унтер-офицерах блестят новые золотые нашивки, и у меня не воскресное, а особое, праздничное настроение. Тихо, и вместе с тем весело — «Корпусной»!

После литургии в церковь внесли наше знамя Полоцкого кадетского корпуса, которое встречал перед Музеем оркестр маршем военно-учебных заведений. Следуя за полковником А. Д. Шавровым, вице-унтер-офицер знамёнщик Шура Ратнов, в новых «лычках», гордо нёс знамя. Остановившись перед алтарём, знамёнщик опустил древко между носками ботинок и вложил его в согнутый локоть левой руки. Знамя колыхнулось и замерло. Начался молебен.

Вот и наше знамя вместе с нами празднует «Корпусной», и потянулась золотой нашивкой ленточка памяти в далёкое родное прошлое. Сколько кадет полочан, с момента пожалования Полоцкому корпусу Императором Николаем I этого знамени в 1845 году, так же как и я, с ним молились?.. Сколько кадет сумцов читали надпись «С нами Бог» на их знамени, которое сейчас служит запрестольным образом в нашей корпусной церкви?.. Сколько кадет сибиряков играли на жалованных юбилейных фанфарах, звук которых вчера меня так поразил особенным тембром?.. Сколько осталось тарелок с вензелем Владикавказского кадетского корпуса, которые иногда попадали к нам в столовую?.. Сколько из кадет погибли смертью храбрых в кровавые годы гражданской войны, защищая честь Родины, и эти знамёна от большевиков?.. И мне чудилась гора черепов с картины Верещагина, которая висела у нас в коридоре.

На каждом «сколько» память завязывала узел, и эта золотая ленточка дотянулась, через поколения наших дедов и отцов, до меня, и я крепко на ней завязал свой узел.

Пока я завязывал узлы и подсчитывал поколения, молебен кончился. Нечего греха таить, бывало, замечтаешься — и служба кончается.

Под звуки того же марша знамя вынесли, и нас развели по ротам на передышку перед последним построением на парад.

Весь корпус поротно, по общему ранжиру (по росту), в парадной форме, выстраивался в коридоре Роты Его Высочества для парада. Я не буду описывать всего парада, так как он подробно, со всеми

деталюми, напечатан в нашей «Седьмой Кадетской Памятке», и весь его распорядок повторялся из года в год. Прошлогодний парад я плохо помню, но в этом году, попав в первую шеренгу, я сберёг некоторые воспоминания.

На этот раз я стоял ближе к середине батальона, чем в прошлом году. Напротив меня вдоль стенки стояли гости, и если скосить глаза вправо (голову нельзя поворачивать!), то я видел левый фланг институток, а сегодня вечером после концерта бал, на который придут эти институтки. Лезет в голову разная чепуха, а тут надо стоять смирно, набрать воздуха — выпустить, а грудь оставить на месте, да убрать живот. Ладони потеют, фуражка, надетая прямо, давит (я её всегда носил набекрень), но стою смирно, и приятно стоять — где-то под этой «грудью колесом» бьётся кадетское сердце от радости и гордости за свой родной корпус. До головокружения кричу «Ура!», когда возглашаются здравницы России и родному корпусу, и прихожу в себя только когда раздаётся команда:

— Батальон... направо!

Раз... два. Как один и замерли.

— К церемониальному маршу! Справа повзводно, на двухвзводную дистанцию, равнение направо, первая рота!

Оркестр заиграл Старый Егерский марш. Пошла повзводно 1-я Рота Его Высочества. Смотрю на них: красота... И душа радуется и завидует... когда же я буду в первой роте?

Пошла наша 2-я рота. Впереди — 1-й взвод. Идут хорошо — молодцы. Одним глазом слежу, как 2-й взвод идет — ничего, прошли — не подкачали, а за ними — мы.

Обошли правым плечом, потоптались на месте, выровнялись, да как вырвались с левой ноги, и пошли печатать... Взвод большой, и в узком коридоре каждый шаг, как громом гремит. На приветствие директора, как рывкнули, как из пушки залпом:

— Рады стараться, Ваше Превосходительство!

Мне показалось, что окна задрезжали и институтки зашатались. «Берегись! Славный XXIV идёт!» — мелькнуло у меня в голове.

Когда мы уже начали подниматься по винтовой лестнице, я обернулся: «семила»⁴³ 3-я рота, но шли хорошо. Мордашки весёлые, радостные, и я подумал: «Таким, наверное, был и я в прошлом году».

⁴³ Мелким шагом.

После парада и обеда, который всегда отличался чем-то редким и вкусным — борщ с сосисками, телячье жаркое и пирожные от Могоша, во всём здании воцарялось предбальное настроение. Кроме редкого и вкусного, за обедом вместе с нами за столом сидели старые кадеты. По традиции в этот день нам разрешалось разговаривать, и столовая гудела несмолкаемым пчелиным ульем. Где бы не сидели старые кадеты, за столом шёл оживлённый разговор, и если бы посторонний человек заинтересовался, о чём могут так весело говорить этот взрослый господин и сияющий до ушей малыш, то ответ был бы таков: «Как о чём? Конечно о родном корпусе!» И улей шумел, пока не раздавалась громкая команда: «Встать! На молитву».

Я с некоторой тревогой наблюдал, как на моём дежурстве приходит в полный беспорядок спальня.

Чистят ботинки суконными одеялами, разбирают утром мною выровненные шинели, снова наводят блеск на уже начищенные пуговицы и бляхи, полотенца валяются где угодно, кровати помяты, повседневная форма не сложена. «Лёшка» Леонтьев попросил меня одолжить ему мою фуражку (в ней он выглядел «ахово»), так как на его фуражке сломалась тулия, обещал принести пирожное от Побединской, — я согласился.

Все надевали шинели, расправляли складки и являлись на проверку к дежурному воспитателю. Уходили в город к знакомым или просто погулять на свободе, без «дядек» и воспитателей. Гвоздём отпуска обыкновенно были две кондитерских: Могоша, куда, главным образом, ходили старшие классы, и госпожи Побединской, где собирались младшие классы, чувствуя себя более спокойно, при отсутствии зоркого глаза старших кадет, а в особенности таких, как Скивский Шура (XX выпуска), которого, встретив в городе, обходили «за тридевять земель». Я-то не знаю — в отпуск не ходил, но товарищи рассказывали, что он «придирался» к младшим кадетам и отсылал их назад в корпус за малейшие провинности: за набок надетую фуражку, за отданную честь не по уставу, и за разные мелочи, которые провинившиеся отрицали, но спорить со старшим кадетом не решались. Братья шли на приём в институт к сёстрам, исполняя секретную должность «почтальонов». Переписываться с институтками запрещалось, и за этим строго следили как «звери», так и «классидры»⁴⁴.

⁴⁴ Классные дамы.

Я не имел чести принадлежать к той «элите», которая ходила в отпуск. Надо было иметь «пять» или «четыре» за поведение, а «троечников» пускали в отпуск только на Корпусной и на Ротный праздники, Рождество и Пасху. Нашего брата с «колом» обычно назначали в этот день на дежурство: по классу, по спальне или по коридору. Какой же это будет «отпетый» кадет, если он не умудрится попасть в город «самодралом». «Самодрал», а на языке «зверей»: самовольная отлучка, строго карался, вплоть до исключения из корпуса. На эту тему, наверное, у многих из нас найдутся интересные, курьёзные истории. Моя — ещё впереди.

В то же время в Роте Его Высочества также происходили лихорадочные приготовления к отпуску и балу.

Вчера на вечерних занятиях я закончил последние программки к корпусному балу для «дядек» Алёши Нещерета и Володи Гавлицкого, а также две — для гостей. Беспощадно «скатывал»⁴⁵ цветы с известных открыток Клайн, а рамки и узоры дул по Билибину. Под предлогом, что мне их надо лично передать, получил разрешение от дежурного офицера-воспитателя пройти в Роту Его Высочества. Спустившись вниз в Полоцкий коридор, я, как полагается, явился дежурному офицеру-воспитателю 1-й роты, и от радости, и в то же время от страха: а вдруг появится Скивский или Жедилягин Георгий, который опять начнёт мне рёбра считать, не знал, куда идти. В коридоре было довольно оживлённое движение, и на меня, слава Богу, мало обращали внимания, но душа-то моя, хоть и радовалась, но ушла в пятки. На каждого кадета Роты Его Высочества я смотрел вверх, даже левофланговый Дробышевский был выше меня, не говоря уже о таких верзилах, как Алёша Нещерет, Шура Ратнов и Юра Бендерович, — им я доходил немного выше пояса. Меня не так тревожила разница роста, как чувство, что я попал в предел, куда редко проникает младший кадет, будто передо мной открылась заветная дверь в какой-то новый мир, да ещё на «Корпусной»! Я остановился против открытых дверей спальни и, узнав знакомые лица старших кадет VIII класса, робко спросил:

— Разрешите войти?

В спальне от шума и оживлённого разговора меня не было слышно, и мне пришлось повторить громко мой вопрос.

— Да, входи! — крикнул кто-то.

Я увидел «Шарика» Лобова.

⁴⁵ Срисовывал.

— Лермонтов, здравствуй, смотри, не забудь сегодня вечером явиться полковнику Барышеву, а то я танцевать не смогу! — И «Шарик» улыбнулся. Он показал мне кулак (как будто луна выплыла из-за туч и опять скрылась), а потом спросил: — Ты чего пришёл?

Я объяснил, и, увидав Алёшу в другом конце спальни, начал пробираться к нему между кроватями.

В спальне кипела работа франтов и модников. Большинство рвалось в отпуск. Из-под матрасов извлекали спрессованные парадные брюки, натянутые на специальные формы из фанеры, и усердно гладили. (У нас во 2-й роте вставляли в раструб брюк учебник пения с твёрдой картонной обложкой.) Наверное, за утюгом была очередь, так как кто-то крикнул:

— «Жук», торопись, ещё три человека ждут утюг!

Я обернулся и увидел Шуру Ратнова, моего скопьянца, гладившего брюки. Я первый раз услышал его прозвище и, конечно, не мог повторить не только его, но и прозвища всех старших кадет, — не полагалось (из уважения), но мы их знали и между собой говорили.

Шура кончил гладить и, передав утюг Липковскому, любовался своей работой. Самый шик заключался в том, чтобы «клёш» покрывал весь ботинок. Такому суконному «колоколу» позавидовали бы и сами моряки, хотя за подобное «повреждение» казённого имущества «грели». Так же, как и мы, готовясь к отпуску, кадеты начищали гербовые пуговицы на чёрных шинелях, бляхи и ботинки; на цигелях сушились белые перчатки; иные дошивали розетки. Проходя мимо пустой кровати, на которой аккуратно была разложена разглаженная парадная рубашка, я почувствовал запах «тройного одеколона», и, вспомнив отцовское «Чем тут воняет?», был рад тому, что это скорее исключение, чем правило. Когда я подошёл к Алёше, он, глядя в маленькое зеркальце, подстригал «усы». Если можно было принять этот пушок, который мы называли «сопленцами», за усы. Тем не менее Алёша очень осторожно, что-то выстригал с верхней губы, и я, стараясь ему не мешать, стоял в ожидании, пока он меня заметит. Позади меня кто-то рассказывал соседу:

— ... Помнишь, как несколькими годами ранее, он, игравший ответственную роль, вернулся из отпуска, точнее, от «Ку-ку»⁴⁶, еле держась на ногах, от чего режиссёр, полковник Левитский, впал в безнадежное отчаянье. Все ожидали, что тщательно подготовленная драма сорвется или обратится в трагедию, но к общему удивлению,

⁴⁶ «Шинок» на окраине города.

он за два часа до начала спектакля настолько протрезвел, что сыграл всю роль вполне прилично, даже с яростным подъёмом, хотя все мы всё это время сидели, как на иголках. Его, как героя и виновника торжества, не наказали. Даже не сделали выговора.

Я оглянулся, жалея, что пропустил имя артиста, и увидел своего «дядьку» Валу Мантулина, как всегда резонно и убедительно выводящего заключение. Валя был старшим музыкантом нашего оркестра, которому предстояло выступить на сегодняшнем концерте.

Алёша, окончив подстригать «усы» и приглаживая их, повернулся ко мне:

— Покажи, что ты там намалевал?

Он заказал красные розы, и чтобы было много листьев. Почему много листьев? Потому, что листья роз похожи на сердце! Ну, я и срисовал с открытки Клайн розы, и добавил листья.

— Да, ничего, хорошо. Спасибо! — И положил программку на кровать, а на неё — малиновую с длинными лентами розетку, на которой сиял погончик.

Я наклонился, чтобы ближе рассмотреть: мельчайший трафарет вензеля резко выделялся на малиновом погончике с унтер-офицерскими нашивками, сияющими золотой медью под несколькими слоями лака, — красота! Мне ещё далеко до такой работы. Я спросил Алёшу, кто делал погончик.

— Это наш художник-умелец Серёжа Муравьёв.

Я вспомнил, как у нас в роте говорили, что ему даже «Баран» (полковник Розанов), инспектор классов, заказывал погончик.

Передав две программки для гостей вице-фельдфебелю Роты Его Высочества Борису Яценко, я потом у себя в классе, как будто бы невзначай, рассказал, как я разговаривал с вице-фельдфебелем 1-й роты и как он улыбнулся и, похлопав меня по плечу, похвалил: «Вот молодец, спасибо».

Расспросив, где находится VII класс, я пошёл гордый и довольный — вице-фельдфебель похвалил — искать тоже моего «дядьку», этого года, Володю Гавлицкого. Когда я проходил мимо VIII класса, в открытую дверь я увидел Серёжу Муравьева, доканчивавшего роскошную программку.

По коридору, по направлению к дежурке, проходили аккуратно одетые отпускные. Так у меня на всю жизнь и сохранилось восхищение строгой красотой формы Роты Его Высочества: чёрная шинель военного покроя, с одним рядом сияющих гербовых пуговиц,

малиновый погон с жёлтым вензелем; блестящая, как на тёмном небе звезда, медная с сиянием бляха; белоснежные перчатки; чёрные «клёш» брюки, покрывающие ботинки, доведённые до максимального блеска, и на весёлом лице («без улыбки») — чёрная фуражка с малиновой тульей и солдатской кокардой, надетая немножко набок. Идёт такой кадет лёгкой военной походкой по улице Белой Церкви — и тусклое зимнее солнце меркнет при блеске его молодцеватой фигуры! Чьё самое чёрствое девичье сердце не устоит перед такой красотой?!

Я остановился перед дверьми VII класса, вспомнив, что тут может быть Шура Скивский, и хотя он меня знал по переплётной мастерской, я поправил позади складки, одёрнул впереди повседневную рубашку (я же в отпуск не собирался), постучал в дверь и, получив разрешение, вошёл. Везёт мне, как утопленнику, — передо мной стоял Скивский, готовый идти в отпуск.

— Ага... Лермонтов, входи, входи, дай мне на тебя посмотреть... — говорит строго, а сам улыбается, — а ну, повернись... почему хвост торчит? Покажи, что ты принёс.

Поворачиваясь, я услышал хорошо знакомый голос «Мацы» и быстро про себя поправился: старший кадет Гавлицкий.

— Шурка, оставь его в покое, он ко мне пришёл, — выручил меня Гавлицкий.

— Иди, иди, валяй... — уже совсем весело отпустил меня Скивский.

В классе, где на стенке красовалась в рамке малиновых лент и розеток римская цифра двадцать, было не так много кадет, большинство уже ушли в отпуск. Около парт Лёни Кисиль и Бориса Ульянцева (старшего брата нашего «Урлика») собралась куча нетерпеливых клиентов. Художники дорисовывали шипы и стебельки ярким розам на роскошных программках из паспарту, и когда я на них взглянул, то ахнул, увидав художественное исполнение рисунков: тут не отделаешься котлетой или коржиками, как у нас, — бери выше. Тут же, передавая это произведение искусства (которое им, наверное, дорого обошлось) распорядителям на вечере, возбуждённые, предстоящими встречами с институтками, кадеты вдалбливали им: кому её вручать и что шепнуть.

Старший кадет Гавлицкий (тут я по-другому и думать не мог) одобрил мою работу. Я этот сюжет уже рисовал несколько раз: Библинский Иванушка, проснувшись, выдёргивает перо у жар-птицы,

и показал Лёне, который, будучи здорово занят, только взглянул и также одобрил.

Возвращаясь назад к себе в роту, я не шёл, а летел по лестнице от возбуждения пережитых впечатлений. Как же! Побывать в помещениях Роты Его Высочества удаётся не каждому младшему кадету.

Вернувшись в роту, я зашёл в спальню, и пришёл в ужас. В ней стоял такой беспорядок, как будто тут только что кончили играть в «кукушку»⁴⁷. На радостях я решил, что пока мои одноклассники гуляют, веселятся и уплетают пирожные, я приведу спальню в полный порядок, чтобы не осрамиться, когда придут после отпуска старые кадеты в гости.

По возвращению из отпуска, кадеты пили чай с булкой, а участвующие в концерте готовились к балу. Остальные приводили классы в порядок, ожидая старых кадет, которые, жертвуя общением с товарищами в Роте Его Высочества, всегда находили время навещать и младших товарищей. «Лёшка» — молодец, сдержал слово — принёс половину шоколадной трубочки, и мы её вместе слопали.

Я надел парадную форму и явился полковнику Барышеву, который мне объяснил премудрости «вспышки» и все остальные обязанности. «Шарик» широко улыбался и советовал поступить в «Кружок любителей фотографии». Я отказался — у меня тогда не было бы вообще свободного времени. Поставили мы аппарат у входной двери около первой арки, и я там встал, положив на всякий случай, если «звери» спросят, руку на треног аппарата, — я, мол, «фотограф».

Из моего угла направо я видел всю сцену, а в левую сторону — весь зал. Мной овладел «телячий восторг»: вот, где я смогу увидеть «девятку» гимнастов, почти перед собой.

В зале, в первом ряду, уже сидели полковник В. А. Розанов («Баран», инспектор классов), «звери», приглашённые гости, а впереди стояли кадеты-распорядители с малиновыми и голубыми розетками⁴⁸ на левом плече и художественными программками в руках. Эти кадеты встречали и рассаживали гостей. Позади, на скамейках из столовой, с правой стороны стояли пустые скамейки для институток, а левую сторону, через проход, занимали кадеты.

Я помню, у нас (2-я и 3-я роты) на генеральной репетиции всегда происходила толчея за места в проходе. Такое место можно было

⁴⁷ В спальне или в классе тушился свет, и в полной темноте кидали чем попало, на любой шорох.

⁴⁸ Малиновый — цвет корпуса, а голубой — института.

выменять за коржик у какого-нибудь отчаянного сердцееда. В проходе на специально расставленных стульях сидели институтские классные дамы, которые зорко следили за тем, чтобы не передавали письма и записочки, но это не помогало. Наши изобретательные ухажёры прибегали к разным уловкам. Для того чтобы «Манички» и «Танички» получили их пылкие послания, заранее прикрепляли их к низу скамеек, на которых сидели институтки, прятали под развешенными в нишах картинами, передавали через проход, когда в зале тушили свет во время фотосъёмки. Во всяком случае, бывалому кадету ничего не стоило перехитрить всюду вертевшихся «классидр».

Приступая к описанию бала Роты Его Высочества, надо упомянуть одно важное событие, предшествовавшее Корпусному празднику, а именно: концерт в память 950-летия Крещения Руси, который был перенесён на 6 ноября 1938 года, из-за того, что в самый день св. Владимира, 28 июля, все учащиеся были на летних каникулах. Хотя подобные представления нередко устраивались в большом городском театре «Бург», необычайность этого концерта заключалась в том, что кантаты в честь равноапостольного князя исполнял смешанный хор институток и кадет, тогда как в течение учебного года каждый хор должен был выступать и петь в церкви отдельно.

Известие о предстоящем праздновании послужило причиной к возрождению среди кадет всех видов искусства. Если на регулярные спевки хористов приходилось загонять чуть ли не батогамы, и далеко не все признавали за собой певческий талант, то в данном случае голоса появились у самых отпетых «козлов», и к этому концерту пожелавших участвовать оказалось гораздо больше, чем нужно.

Во время общих спевков, когда разгорались юношеские волнения, не только старшему музыканту и старшему певчому приходилось следить за тем, чтобы кадеты не задерживались за кулисами, но и дирижерам Е. В. Говоровой и М. С. Собченко надо было устанавливать порядок, когда все выстраивались на сцене.

Короче говоря, хор оказался тем проводником, в котором неожиданно-негаданно завязались узлы дружбы и из которого протягивались невидимые и роковые нити вплоть до самого Корпусного праздника. Поэтому многие происшествия, разразившиеся во время бала, явились только следствием того, что началось на предыдущем концерте.

В том возрасте моё увлечение гимнастикой было вполне понятно, но всё же такое событие, как корпусной концерт, было необычно-

венной приятной редкостью, которой кадеты с вдохновением посвятили столько усилий, стараний и многообразных талантов. Обычно на Корпусной праздник ставили какую-нибудь одноактную пьесу патриотического содержания, но на этот раз решили отказаться от драматургии и сделать упор на другие виды искусства, вложив все силы в концерт. Но что это был за концерт! Нам, младшим их товарищам, было на кого любоваться, кем восхищаться и с кого брать многогранный пример.

Трудно себе представить атмосферу напряжённого ожидания в ярко освещённом вестибюле и в ведущем в зал коридоре, в котором дежурили услужливые и гостеприимные кадеты-распорядители. Шум в зале нарастал по мере появления всё новых нарядных и приветливых гостей, которых распорядители рассаживали в передних рядах.

К распорядителю Серёже Муравьеву подошёл его одноклассник Володя Просяниченко, недавно поступивший в корпус из гимназии, и, пожимая плечами и разводя руками, передал ему программку, которую Серёжа для него же только сегодня закончил, а сам забрался на сцену за закрытый занавес и начал оттуда выглядывать. Оказалось, что «Прося», как его называли товарищи, не отличался, мягко выражаясь, привлекательной наружностью, но, взамен тому, с невероятной настойчивостью уговорил Серёжу нарисовать ему для Веры Дмитриченко программку. Но когда дело дошло до подношения, то по своей безграничной застенчивости поручил это «священнодействие» Серёже.

Когда распорядители, передавая друг другу, начали сигнализировать, что в вестибюле появились самые желанные гостьинститутки, шум мгновенно перерос в радостный гул.

«Царицы юных грёз» входили парами так близко от меня, что я чувствовал свежий запах накрахмаленного полотна их пелеринок. Тогда, в тринадцать глупых лет, я ими откровенно любовался, как художник любит красоту произведения искусства, но с открытым ртом, и жаль, что около меня в тот момент никого не было, чтобы меня одёрнуть!

Задние ряды кадет, как по команде, поднялись, и на лицах попеременно отражались то чувство радости, то разочарования, если желанная дама не прибыла. Институтки встречали улыбающиеся распорядители, давали отпечатанные программки, а избранным по заказу — художественные программки-папки, и усаживали по

местам. Из моего угла я видел, как в разрез занавеса со сцены просунулась чуть ли не вся голова Володи Просяниченко, когда Серёжа Муравьёв передавал программку Вере Дмитриченко, и что-то ей сказал такое, что она улыбнулась.

Когда замолкли последние восклицания и все сидели по своим местам, а вокруг установилась волнующая полутьшина, в зал вошёл «Генпоп», и сразу же раздалась команда:

— Встать, смирно!

Директор поздоровался с начальницей института и другими почётными гостями, сел в особое кресло и дал знак, что можно начинать программу.

Концерт начался фанфарным маршем «Герольд».

Из боковой двери перед сценой, на которой уже стоял в готовности оркестр в блеске своих начищенных труб, выходили четыре кадета в парадной форме и в фуражках, неся на вытянутой правой руке блестящие фанфары, с которых свисали малиновые прапора с вензелем шефа корпуса, как на нашем погоне. Остановившись на середине, перед сценой, и повернувшись в пол-оборота к залу, они одновременно спускали фанфары на выставленное колено. Фанфары и оркестр начинали марш одновременно, а потом они чередовались.

Каждый раз, когда я его слышал, у меня замирало сердце, и я уверен, что у меня рот не закрывался до тех пор, пока не отзвучала последняя нота. Гордый настойчивый звук фанфарных труб требовал беспрекословного внимания и повиновения, и вместе с тем — бодрил и веселил. Сердце невольно билось в такт музыке, и в груди рос комок дикого восторга, так что по окончании марша хотелось бесконечно аплодировать. Как ни странно, но институтки ничуть не отличались от нас в этом восторге.

Духовой оркестр под управлением капельмейстера М. С. Собченко открыл программу прекрасным исполнением попури из оперы Джузеппе Верди «Травиата». Затем последовало исполнение А. Лашкарёвым, XIX выпуска, арии Сусанина из оперы Глинки «Жизнь за царя». Мы тогда и не подозревали, что, может быть, единственные в мире слушаем слова этой арии в оригинале, так как в советской версии слова о царе давно уже были выброшены не только из оперы, но и вообще из употребления. Я первый раз слышал нашего «Ушкаря», исполнявшего что-нибудь другое, кроме чтения Апостола на воскресной службе в церкви. Так он у меня в памяти и остался: у

аналоя, посередине зала, с раскрытой книгой в одной руке, а другой, прижав ухо, задающим себе тон.

Присутствующий на концерте представитель русской белградской прессы впоследствии отметил внушительное исполнение нашей корпусной знаменитости⁴⁹.

Вскоре, тот же Лашкарёв с Володей Мартыненко (XX выпуска) спел дуэт Рубинштейна «Горные вершины». В завершение сольных выступлений, мой «дядька» Валя Мантулин, в новых блестящих нашивках, сыграл на скрипке «Песню без слов» П. И. Чайковского, изрядно меня этим удивив, так как я совершенно не подозревал в Вале такого музыкального таланта. Затем под управлением Лашкарёва, последовало выступление кадетского хора, исполнившего ряд народных песен, и в заключение — «Вниз по матушке, по Волге...» (в труднейшей аранжировке Калиникова), на что обратили особое внимание присутствовавшие в зале хористы знаменитого Донского казачьего хора Сергея Жарова.

Но особого одобрения публики удостоился великорусский струнный оркестр, пожалуй, самый большой в истории корпуса, созданный вице-унтер-офицером Юрием Фостиковым (XIX выпуска). Из народного репертуара публика оценила по заслугам песню «Вот мчится тройка почтовая...» и, фабрично-городскую, «По ком ты слёзы проливаешь?», которую спел Володя Мартыненко в сопровождении оркестра и хора.

Ещё не стихли аплодисменты, не отпускаявшие «Мартына» и оркестр, когда внесли параллельные брусья для выступления гимнастов. Дождался — с моего укромного места я их буду лучше видеть.

Количеством и качеством своих гимнастов более всего славился XVIII выпуск, хотя и в XIX — они тоже были, среди которых я отдавал предпочтение Олегу Лобову. Повторяю: ему я был обязан моим физическим развитием и увлечением гимнастикой. Это были мои кумиры. Вот кем я мечтал стать, когда буду в первой роте.

Справедливости ради следует оговориться, что старшим группы являлся Сева Высоцкий. Он был у нас в роте «дядькой», когда я был во втором классе.

Свои его называли — Севка. Он начал серьёзно заниматься гимнастикой ещё в XVII выпуске, под «крылышком» известного в кадетской среде Кости Курицкого, который впоследствии, уже пос-

⁴⁹ См. «Седьмая Кадетская Памятка», ст. 434, Александр А. Лашкарёв.

ле войны, стал инструктором спорта в Крыму. Будучи от природы мальчишкой худеньким и сутуловатым, Севка силой воли заставил себя стать выдающимся гимнастом. Интересно будет вспомнить, что всего лишь за полгода до этого, в мае месяце, когда, согласно традиции, по окончании 1938 учебного года, XVIII выпуск вывесил в коридоре Роты Его Высочества карикатуры на представителей XIX выпуска, одна из самых удачных оказалась карикатура на Высоцкого. Он был изображён в виде гладиатора с непомерно вздутыми бицепсами, с горделиво вскинутой направо головой (но всё-таки сутуловатым) и с победоносным трезубом в руке. Под рисунком значилась лаконическая надпись: «Dux Gimmastorum».

Когда Севка подошёл к своему образу, он сперва приглушенно хихикнул, а потом его охватил неудержимый хохот.

Одно появление гимнастов уже вызывало восторг, когда они, начиная от Севы Высоцкого и кончая Джабом Бурхиновым, прямо передо мной, бесшумно, отчётливо входили в зал под марш «Тоска по Родине», и останавливались позади параллельных брусьев. Не одно кадетское сердце трепетало от восхищения при виде стройных, мускулистых фигур в белых тельниках (майках) с чёрным двуглавым орлом на груди, и в синих гимнастических трико, которые пристёгивались к носкам лёгких тапочек.

Все сначала исполняли общее упражнение, а потом каждый своё — личное.

Я переживал вместе с ними каждое движение, каждый мах, каждую скобку и стойку. Затаив дыхание при каждом тяжёлом исполнении, я с облегчением вздыхал, когда оно кончалось. Ловил малейшие детали каждого приёма и старался их запомнить, — я тоже это когда-нибудь буду делать! И когда левофланговый Джаб Бурхинов XX выпуска, перейдя в стойке с двух брусьев на один, соскочил и ловко присел, заканчивая выступление, настала гробовая тишина на несколько секунд, а потом вдруг весь зал разразился громом аплодисментов, криком и шумом вставших кадет, мой восторг, и не только мой, а всего зала, достиг своего апогея. Беспорядочный шум перешёл в равномерное, в такт маршу, рукоплескание, провожающее покидавших зал гимнастов.

Не успели ещё заглохнуть рукоплескания, как раздался громкий голос командира первой роты полковника Н. А. Чудинова («Чудо»):

— Кадеты, приглашайте ваших дам на чай!

Тут я увидел разницу между нами и кадетами Роты Его Высочества: они не бросались к институткам, как свора волков на ягнят, а чинно подходили, кланялись, и важно, шествуя под руку со своей дамой, покидали зал, направляясь в столовую 1-й роты и гимнастический зал.

Проходя мимо меня со своей дамой, «Шарик» Лобов строго сказал:

— Не уходи! На танцах будут фотографировать.

Из зала начали выносить скамейки, и я, вспомнив, что в классе ждёт меня хлеб и чайная колбаса, кинулся бегом в роту, опасаясь, что в моём отсутствии её могут съесть. В роте ходили из класса в класс старые кадеты, из которых я знал только Костю Курицкого, который сидел у нас в классе, окружённый моими товарищами. «Кот» де Боде, исполняя ещё свои старые обязанности, следил за моей колбасой, на которую уже с вождением поглядывали «Два пи-пи»: Павлик Кутепов и Павел Фау. Налив горячего чая в кружку для чистки зубов, я умял этот толстый кусок чайной колбасы, который в своей пахучей розовой красоте свисал с куска хлеба, с таким большим удовольствием, что я до сих пор повторяю: такой вкусной чайной колбасы я больше никогда не ел!

Колбаса колбасой, а мне надо было возвращаться назад в зал, что мне не особенно хотелось. Программу я видел второй раз, вдоволь налюбовался гимнастами, а смотреть, как другие танцуют — неинтересно и скучно. Но я ошибся. Помимо того, что некоторые «дядьки» со мной откровенничали, я дружил с одноклассниками, у которых были сёстры в институте, и с таким запасом «секретов» открывался более широкий кругозор.

Когда я вернулся на своё укромное место, кадеты возвращались со своими дамами в зал, и я никак не мог понять, каким образом они так весело и непринуждённо между собой разговаривают, в то время как мы могли выдать не больше двух вопросов: «Как Вас зовут?» и «В каком Вы классе?», и были рады, если получали хотя бы один ответ. Мимо меня прошёл «Жук» Ратнов, что-то восторженно рассказывая Тане Вертеповой, опустившей смущённо голову. Ну что можно ещё добавить, если он ей еженедельно посылает «пантофельной»⁵⁰ почтой целые тетрадки, переполненные всякой всячиной и, конечно, сердечными излияниями. (А один из «почталёнов» — наш «Шеря» Шереметов, проходящий.)

⁵⁰ Общее понятие передачи писем в институт. В данном случае — в калошах преподавателей, идущих из корпуса в институт на урок.

Пустой зал, где остались только в нишах белые скамейки-кресла, быстро наполнился вернувшейся с ужина публикой. Когда институтки расселись по скамейкам и перед ними почтительно стояли, продолжая разговор, кадеты, а «Генпоп», «Ева», «звери» и «классидры» разместились на стульях вдоль стенок, оставляя середину зала пустой для танцев, начался бал.

По традиции первым танцем был «Кралево коло». Образовывался большой круг, и в такт музыке двигались в соответственных «па» то вправо, то влево. Все знали эти простые движения. Кавалеры держали крепко своих дам за руки, так как это был единственный танец, когда неумевшие танцевать «запорожцы» могли поддержать ручку своей симпатии, и разнимая руки танцующих, «врезались» в «коло» около неё.

Иногда первый вальс играл кадетский духовой оркестр, но неудобство такого распределения заключалось в том, что музыканты лишались возможности и удовольствия самим танцевать. Поэтому заменял оркестр один человек — наш бессменный тапёр, библиотекарь, статский советник, Александр Иосифович Котек. Он же аккомпанировал всем солистам. Милейший, обаятельный музыкант, он играл для нас в этот год с еле сросшейся сломанной рукой, и всё-таки его недюжинный талант позволил ему заменить весь оркестр.

Громкий голос распорядителя танцев, которым обыкновенно бывали вице-фельдфебели, а сейчас Борис Яценко, объявил:

— Вальс.

И когда кадеты со своими дамами выстроились большим кругом, раздались первые звуки вальса.

Мой наблюдательный пункт стал негодным: передо мной высились несколько спин гостей. Любопытство посмотреть, как и с кем танцуют старшие, заставило меня выйти из моего угла и осторожно пробраться вдоль стенки к середине зала, откуда я мог лучше видеть танцующих. Надо отдать должное кадетам Роты Его Высочества: помимо того, что вальс — красивейший бальный танец, старшие кадеты умели ему придать строгость и выдержку в плавном соблюдении круга и расстояния между парами, что создавало впечатление живого венка из белых ромашек и голубых васильков. Вот это да! А у нас толкотня: танцуют на середине зала, мешают друг другу, и негде развернуться.

Мимо меня проплывали танцевавшие пары весёлых кадет и, иногда, смущённых институток. И я не подозревал, что становлюсь

свидетелем возможных объяснений, влекущих за собой счастливые или печальные последствия, оставившие выпускному классу на всю жизнь неизгладимые воспоминания.

Танцы следовали по программе один за другим, с паузами, давая время институткам передохнуть. Их было меньше, чем танцующих кадет, и им услужливые кавалеры приносили лимонад. У противоположной стенки, напротив меня, в деревянном кресле сидела одна из самых милостивых институток, как я сразу определил, потому что только около неё могли сидеть сам вице-фельдфебель Борис Яценко и мой «дядька» Валя Мантулин. Белолицая брюнетка, Нюся Нарышкина, старшего класса, давно уже пользовавшаяся успехом у кадет старших выпусков, благосклонно принимала комплименты обоих поклонников и Славы Хлопова, подносящего ей стакан лимонада.

Оказывается, наш фельдфебель писал ей при свете ночника безответные сонеты, а безнадёжный воздыхатель Славка Хлопов поднёс ей стакан лимонада, в который он, озорства ради, подлил каплю коньяка, что, в свою очередь, вызвало взрыв негодования остальных двух. Но, к счастью, дело обошлось без конфликта. Наоборот, после рождественских каникул эти «три мушкетёра» узнают, что у их кумира, оказывается, есть в Белграде настоящий избранник. Тогда, в порыве товарищеского негодования, они сообща принимают мучительное, но кадетское решение, которое разразилось в институтских кулуарах маленьким взрывом.

На одном из самых последних кресел уединились Володя Полиевктов («Спартанец», как его называли товарищи) и хорошенькая Муся Кавазова. Они уже просидели вместе два танца, и нетерпеливые танцоры нервно прохаживались мимо них. Володю я знал как одного из лучших шахматистов XIX выпуска.

Для меня, тогда непосвященного в их тайны, объяснение между этой необычной и бездвижной парой (Володя не умел танцевать) не представляло никакого интереса, но для осведомлённых воздыхателей это было не только событием бала, но и всего года. Подумать только, неотразимые «львы» старших классов должны были ждать, пока они кончат беседу. Помимо того, что Муся была хороша собой, она вдобавок обладала пылким и решительным характером, который помогал ей держать под контролем вереницу поклонников, осыпавших её потоком душистых писем и приглашений на свидание.

Прозвище «Спартанец» соответствовало только греческой форме носа Володи Полиевктова. В остальном, своим хрупким

и хилым телосложением, он являл собой полную противоположность легендарным воинам древней Греции. Весьма возможно, что эта кличка укоренилась за ним, когда «Генпоп» на уроке истории рассказал классу, что спартанцы своих недоразвитых младенцев бросали в пропасть с известной мифической горы Тайгетус. Очевидно, в данном случае, наследники Ликурга не досмотрели. Тем любопытнее тот факт, что Полиевктов дерзнул написать вызывающее, но вполне вежливое письмо, пожалуй, самой популярной институтке, Мусе Кавазовой. И, что самое забавное, она ему ответила, хотя опытные ухажёры прочили «Спартанцу» полный провал. Между прочим, он берёт это письмо до конца своих дней, и оно сохранилось...

Тут, почти около меня, стоит фельдфебель моей 2-й роты Алёша Нецерет («Дунька»), высокий красавец, с только что подстриженными «усиками», и, склонившись над еле доходившей ему до плеча Верой Дмитриченко, рассказывает что-то весёлое, так как она звонко смеётся. Меня начинает мучить вопрос: как они, то есть Володя Просяниченко и Алёша, «поделили» эту весёлую красивую девушку?

В мае следующего года, примерно в той же позе и с той же дамой, Алёша попадёт на кадетскую карикатуру, под которой будут красоваться бессмертные строки из «Письма Татьяны». Вера действительно послала Алёше такое письмо. Решилась, значит.

Я не помню, во время какого танца, «Шарик» Лобов, увидев меня, строго кивнул головой в сторону выхода, к моему месту, что я поспешил исполнить, и натолкнулся на Романа Образа («Пеку»), общего любимца 3-й роты. Он был чем-то смущён, что так не шло к его мужественному лицу и могучему телосложению, и, закончив танец с княгиней Лихтенбергской, убедительно о чём-то рассказывал, разводя своими огромными руками. Пospел я к своему месту как раз в тот момент, когда было объявлено, чтобы кадеты и институтки подошли ближе к сцене, для фотографии. Притащил я треног, и полковник Барышев, установив его у самой сцены, приладил аппарат и, пока в зале позади стоящие старались протолкнуться в передние ряды, стал наводить камеру. Передние ряды успокоились. Впереди я заметил Алёшу Нецерета с Любой Безугловой, кто-то с правой стороны залез на скамейку под самую арку, а слева спокойно стоял Юра Фостиков со своей дамой. Потушили свет, разговоры замолкли, кто-то глубоко вздохнул... «Вспышка!»... Сухой щелчок... И весь зал весело подхватил: «Осечка!»

Наступила пауза... темно... в зале приглушенный шепот и смешки... Вспышка... Вспыхнувший магний ослепил всех стоящих. Юра Фостиков поспешно выпустил руку рядом стоящей дамы. Зал облегченно вздохнул, и раздалась бодрая команда распорядителя танцев:

— Pas d'Espage.

И середина зала опять наполнилась танцующими парами.

После того как я отнёс аппарат в фотографический кабинет, проходя назад через вестибюль, чтобы вернуться к себе в роту, где, наверное, уже все спали, я услышал из зала первые, такие знакомые и, я бы сказал, родные звуки вальса «На сопках Манчжурии». Я не выдержал, вернулся в зал, сознавая, что это начинается «Котильонный вальс», может быть, последний танец этого бала.

Увлечённые знакомой мелодией и опьянённые обоюдной близостью, пары кружились в неудержимом водовороте, как вдруг раздался повелительный голос распорядителя:

— Grand rond!⁵¹

И все уже после нескольких секунд послушно формируют огромный хоровод и мчатся в определённом направлении, перебирая ногами вольные «па» по ходу танца. Не дав кругу как следует набрать скорость, распорядитель провозглашает новую команду:

— Les dames au milieu!⁵²

И дамы на ходу создают внутренний круг, пока не раздаётся очерёдной приказ:

— Mesdames a droite et monsieurs a gauche!⁵³

От такой комбинации противоположных движений начинает рябить в глазах, но тут снова раздался голос распорядителя:

— Partagez!⁵⁴

Выстраивая каждую группу институток и кадет в отдельную шеренгу лицом друг к другу, даёт новую инструкцию:

— Avancez!⁵⁵

После чего:

— Reculez!⁵⁶

И таким образом, то удаляясь, то приближаясь друг к другу, каждый мог заранее ознакомиться со своим vis-à-vis. И что я вижу?..

⁵¹ Большой круг!

⁵² Дамы на середину!

⁵³ Дамы направо, господа налево!

⁵⁴ Разделитесь!

⁵⁵ Продвигайтесь!

⁵⁶ Отступайте!

«Крошка» Дробышевский оказался лицом к лицу с «Гренадером» (Диной Зиверт), — на то он и «Котильонный вальс» — полный сюрпризов! И когда раздалась вполне логическая команда продолжать вальс со своим новым партнёром, пары снова начали стройно проплывать перед стеной растроганных гостей и не очень доброжелательных лорнетов классных дам, пока танцующих не остановила заключительная инструкция:

— Cherchz vos dames!⁵⁷

И тут началось столпотворение — как бы не потерять «свою» даму, да ещё в последнем круге перед концом бала. Дима Иванов, мой добрый голубоглазый «дядька», который ни разу не поставил меня на штраф и не давал нарядов, растерянно поворачиваясь во все стороны, искал свою даму — Лиду Хоренко, одиноко ожидавшую его на середине зала. Увидел... нашёл и трогательно обнял её стан... и закружилась эта светловолосая пара в последнем вальсе.

Раздаются последние аккорды вальса, которые, проникая глубже в грудь, вызывают чуточку грусти, и исчезают улыбки с весёлых лиц. Последний замедленный поворот, и с последней утихшей нотой останавливается весь зал. Около «Генпопа» и «Евы» образуется круг кадет во главе с вице-фельдфебелем, но никакие мольбы продлить бал, хотя бы ещё на один вальс, не помогают. «Ева» неумолима:

— Девочки должны идти на отдых: уже восемь часов вечера.

«Генпоп» краснеет, морщит лоб и что-то ей, робко улыбаясь, говорит, но ничего не помогает. Всё тщетно.

Последнее пожатие пухленькой ручки, последний многообещающий взгляд, последний вздох, и «царицы наших грёз» покидают зал.

Не успел я спрыгнуть со скамейки, как передо мной появился полковник Чудинов.

— А ты что тут делаешь? Тебе давно пора спать, ступай к себе в роту!

Поднимаюсь я по лестнице и думаю: «Кто из них сможет молчать в такой вечер после укладки? Кто сможет подавить в душе напор изливающихся чувств при голубоватом свете ночника? Кто сможет заснуть в такую ночь?»

И «звери» это понимали (да благословит Господь их светлые души)... На следующее утро спи, сколько влезет, — горнист не будит, уроков нет! Это в Роте Его Высочества, а у нас — обычный день!

⁵⁷ Ищите ваших дам!

Мы видали роскошные балы на всех меридианах земного шара, танцевали на многих вечерах до рассвета, но **корпусной бал** останется для всех нас как единственный и незабываемый на всю жизнь бал нашей юности...

Наши дамы

*В Белой Церкви всё лишенья,
Нет веселья капли тут;
И одно лишь утешенье:
Здесь родной нам институт.*

(Песня Крымского кадетского корпуса)

«Здесь родной нам институт». С этого я и начну.

Первое упоминание об институтках и институте я услышал ещё во втором классе от одноклассников, которые, уходя по воскресеньям в отпуск, навещали своих сестёр в институте. Потом мы их встретили на прогулке по аллее. Это было или осенью, или ранней весной. Их тёмные длинные, почти до земли, пальто и белые шапочки произвели на меня впечатление монашек. Я не помню, куда мы шли: в сторону парка или обратно в корпус, но наш строй и их «строй», как я тогда думал, молча прошли мимо друг друга и «разошлись, как в море корабли». Узнав, почему Д. Д. Данилов иногда называет нас «госпожа» (он преподавал также и в институте), у меня сложилось мнение, что институт — кадетский корпус для девиц. И я не был далёк от действительности.

Мариинский Донской Девичий Институт воспитывал русских девиц, как и корпус — кадет, в национальном патриотическом духе. В институте и в корпусе программы обучения в классах стояли на том же уровне, и дисциплина, порядок и внутренний уклад во многом были схожи с корпусным, как брат и сестра. Так я и усвоил тогда, и потом это как бы родственное чувство осталось на всю жизнь.

Кроме того, что в течение всего пребывания в корпусе в нас воспитывали уважение и почтительное отношение ко всем дамам, в младших классах перед Ротным или Корпусным праздниками офицеры-воспитатели учили нас, как подобает обращаться с нашими *дамами-институтками*: «Покажи, как ты будешь приглашать

даму? Как ты будешь обращаться к даме?» А «дядьки» навели блеск на наши угловатые манеры: «Всегда обращай к даме на «Вы». Не подходи близко к даме, остановись в двух шагах, когда будешь кланяться, чтобы дать ей место встать, а то она заденет тебя головой по подбородку. Не сгибайся, когда дама возьмёт тебя под руку, иди прямо, как подобает кадету. Не зажимай руку дамы в кулак, держи осторожно, как...» Тут сравнения зависели от «дядьки» и его представления ручки институтки: как хрустальный стакан, как розу с шипами, как полный стакан воды... Так у меня и укоренилось это особое, возвышенное и нежное, как бы рыцарское отношение к институткам — нашим дамам.

Что касается меня лично, то в моём, ещё неопытном суждении о барышнях, появился раздел на институток и всех остальных. Институтки остались неделимы, а все остальные делились на подотделы: русские, сербки и т. д. Соответственно отделу менялось моё внимание и обращение к девице.

В Скопле, на рождественской «Ёлке», когда я танцевал с Адой Христенко, она меня осторожно спросила:

— Почему ты «Пеночке» Сараевой говоришь «Вы», а всем нам «Ты»?

Даже не задумываясь, моментально ответил:

— Она — институтка.

Ада фыркнула и надулась, но продолжала танцевать.

В «**Колиной тетрадке**» прилично сохранился вдвое сложенный лист из нашей черновой тетради (видны дырки от иголки, когда сшивали тетрадь), на котором моим корявым почерком, чернилами, написаны несколько обращений:

«Вы — лунная ночь с её загадочным светом. Вы — блеск зари. Вы — счастье. От Вашего голоса вздрагивает сердце. Пусть вечно сияет всё, что окружает Вас, что прикасается к Вам, и к чему Вы прикасаетесь, что радует Вас, и даже то, о чём Вы думаете».

Некоторые обращения обведены.

Я уверен, что эти выражения, где-то «скатал»⁵⁸. В четырнадцать лет я не мог так написать, но они определённо предназначались в письма институткам, и возможно, что некоторые и попали. Несмотря на то что «бумага всё стерпит», из этих списанных обращений можно себе представить степень нашей нравственности и высокой морали, в которых нас воспитывали наши «звери» и «дядьки».

⁵⁸ Списал.

Я начал эту заметку кадетской песней, а хочу закончить строфой из стихотворения воспитанницы Мариинского Донского Девичьего Института, посвященного друзьям-кадетам:

За милый корпус, за погонов алость,
За институт, за молодые сны!
Нас изменить не сможет даже старость,
Мы дружбе нашей навсегда верны.

(Нонна Белавина, май, 1969 год)

Знамя

В канун праздника Роты Его Высочества, 18 декабря, после все-нощной и панихиды, состоялась «Заря с церемонией», принос знамени Полоцкого кадетского корпуса в Роту Его Высочества и производство старших кадет в вице-унтер-офицеры: Иванова Дмитрия, Нещерета Алексея, Попова Алексея и Самофалова Константина. Когда наши «дядьки» — Дима и два Алексея — пришли в роту с «лычками», мы их, как полагается, «качали» и, как ни странно, не уронили.

Место, где будет стоять знамя и дежурный кадет Роты Его Высочества, всегда украшалось лентами и цветами, и мы старались под разными предлогами попасть в Роту Его Высочества, чтоб пройти «смирно» мимо и посмотреть на знамя и на часового. Я не помню, под каким предлогом мне удалось попасть в Роту Его Высочества. Пройдя мимо разукрашенной ниши, я остановился, чтобы продлить этот счастливый момент. Полоцкий коридор был пуст. Кадеты Роты Его Высочества во время присутствия знамени в их роте соблюдали особую тишину и порядок.

Как в драгоценном хранилище, среди национальных и малиновых лент и вазонов с цветами, безмолвно и гордо, стоит в малиновом кисейном чехле наша святыня. Тускло сверкают шапочки гвоздиков на древке под золотым крестом, из-под которых конусом свисает ветхое полотнище, и сквозь чехол, на его середине можно различить контур «Николаевского орла». Я до того был поглощён созерцанием знамени, что не запомнил, кто стоял на часах. Да это и не было так важно. Так же безмолвно и гордо, как знамя, стоял дежурный кадет, сливаясь в одно нераздельное звено: знамя и кадет — кадет и знамя. Чувство благоговейного почитания проникло в грудь и разлилось

теплотой уважения к былым подвигам множества кадет в годы лихолетья на моей далёкой Родине.

О, знамя ветхое, краса полка родного,
Ты — бранной славою венчанное в бою,
Чьё сердце за твои лоскутья не готово
Все блага позабыть и жизнь отдать свою.

(«Наш полк» К. Р.)

«Полк» (сейчас) — наш корпус, знамя — наша святыня, как «дядьки» нам говорили.

* * *

Должен забежать вперёд, а то забуду.

В июле 1949 года, по указанию директора корпуса и решению правления нашего Объединения, в городе Мюнхен, Валентин Николаевич Мантулин и я получили наше знамя от генерала А. Г. Попова, который вывез его в Германию, для перевоза в США. До передачи его уезжающему в США кадету V выпуска Борису Белоусову («Борода») знамя хранилось у меня («Седьмая Кадетская Памятка», стр. 442). В том же малиновом кисейном чехле, сложенное квадратом и завёрнутое в чистое полотенце, оно лежало под подушкой на моей лагерной кровати. Нет, я не помню, что мне снилось, но, засыпая, я благодарил Бога за то, что мне посчастливилось так близко прикоснуться к нашей святыне и принять участие в её сохранении. **Почему я?**

Знамя благополучно прибыло в США, где по сей день хранится в синодальном соборе Знамения Божьей Матери, в Нью-Йорке, без права выноса из собора.

.....

1939 год (второе полугодие)

Второе полугодие началось очень плохо. Нахватал я много «двоек», даже по истории у Вадима Павловича получил худенькую «троечку», а раньше были только «пятёрки». Начался клуб «женоненавистников», в котором могли быть только те, кто не переписывается с институтками и не будет с ними танцевать на балах. Сколько нас

набралось, я не помню, и продержались мы только до первого бала, но я выдержал до конца года.

По «Памятке» (стр. 256, 19 февраля 1939 года), 2-я рота (III — V классы) ставила «Недоросль», комедию Фонвизина. Из одного класса вынесли парты, соорудили сцену с занавесом из одеял и расставили скамейки для посетителей. Я стоял на занавеси, которая при всём моём старании, не открывалась, когда нужно было, и не закрывалась в конце действий. Содержания я совершенно не помню, и только с помощью Валентина Мантулина вспомнил крылатую фразу: спрашивают Митрофанушку, что ему снилось, а он отвечает: «Всякая чертовщина: то вы, батюшка, то вы, матушка»,

На аллее, по которой мы ходили гулять в Рудольф-парк, появились мальчишки в одинаковых формах, так же, как и мы, строем проходившие в тот же парк. Я обратил внимание, что у всех были красные нарукавные ленты, с какими-то чёрными иероглифами на белом фоне. Позже мы узнали, что это недавно образовавшиеся, под видом скаутов, Hitler Jugend из местного Volksdeutsch. Для нас они были просто немцы, которых я, имея семнадцать единиц по немецкому языку, моментально возненавидел. Не только я, у нас у всех появилась к ним какая-то неприязненность, и когда мы встречались на аллее, смотрели на них зверем. (В марте 1939 года Германия заняла Австрию, и нам это было известно. Тогда я впервые увидел «свастику».)

«Гришкин» приз

Межклассное соревнование по хоровому пению по обыкновению состоялось на масленицу, но мы начинали готовиться к нему гораздо раньше. Каждый класс выбирал три песни: две на соревнование и одну запасную, в случае равного счёта. В выборе песен часто помогали преподаватель пения М. С. Собченко и воспитатели. Спевки происходили тайно, так, чтобы другие классы роты не знали, что мы поём и как мы поём. Наш классный регент Юра Григорьев («Гришка»), ставил нас по голосам — все должны были петь. Задавал тон, у него был свой камертон, и мы разучивали наши песни. Я стоял позади, в неопределённой середине, между нашими «басами»: Димой Курицким, Юрой Графом, Петром Бурлаковым, Сергеем Хилинским и Павлом Фау. После нескольких первых репетиций, когда мы ещё пели неуверенно, «Гришка» остановил хор и, обращаясь к галёрке, спросил:

— Кто это там из вас «козлит»?

Фау посмотрел на Курицкого, Курицкий — на Хилинского, а он — на меня.

— Ты бы, «Гулька», помалкивал, если не можешь попасть в тон, — сказал «Гришка», отпустив немножко нижнюю губу.

Если бы это был кто-нибудь другой, я бы обиделся и, возможно, полез бы в драку (мне так хотелось петь!), но разве можно было на «Гришку» обижаться? Плюс, от качества нашего пения зависел приз.

В каждом классе есть неписаная и не обязательно соблюдаемая иерархия — какой-то порядок взаимных отношений дружбы, степень близости и откровенности между кадетами, помимо товарищества, которое ко многому обязывало и осталось навеки. Наравне с этим, были кадеты, которых «любили» или «не любили». Я специально поставил этих два понятия в кавычки, чтобы их объяснить в нашем обиходе. Например: «Я его не люблю, он меня всегда задирает». Или: «Я его люблю, он мне всегда подсказывает». Так вот, «Гришка» был таким кадетом, про которого все говорили: «Я его люблю...», и не за подсказки, а за его весёлый и благодушный нрав. Он умел, даже в «серьёзном» разговоре, что-нибудь подметить, безобидно подшутить, «состричь» так, что «серьёзный» разговор переходил в шутку. С ним всегда было весело, свободно, с ним даже подраться было невозможно. Мы все его любили. О нём и писать весело! (Таким я его помню — таким он и остался, только сейчас уже не «Гришка», а о. Георгий, архиерейский дьякон.)

На наши спевки приходил Михаил Степанович, послушать и дать некоторые советы, но главная работа лежала на «Гришке», который, главным образом, аранжировал исполнение, требуя от нас, где петь громче, где тише, быстрее или медленнее, заставляя дискантов тянуть, альтов вторить и басов не орать.

Репертуар песен был широк, состоявший из старых русских и малороссийских народных песен, казачьих, военных, исторических и бытовых.

При помощи моих товарищей я вспомнил некоторые песни, входившие в наш репертуар: «Ах вы, сени, мои сени», «Вдоль по улице метелица метёт», «Вдоль да по речке», «Калинка», «Во кузнице», «Соловей», «Слушай, братцы, мой приказ», «Слети к нам, тихий вечер», «Славное море, священный Байкал», «То не ветер ветку клонит» (эту песню любил покойный директор корпуса, генерал-лейтенант Б. В.

Адамович), «Запрягу я тройку борзых», «Дзинь-бом, слышен звон кандальный», «Громче, трубы боевые, раздавайтесь», «Первый корпус, славный корпус», «Стенька Разин», «Вот мчится тройка почтовая», и эти последние, сольные песни, которые я запомнил в исполнении Володи Мартыненко («Мартына», XXI выпуска): «Вечерний звон», «Однозвучно звенит колокольчик», «Белой акации» и «Замело тебя снегом, Россия».

Из трёх песен, которые мы разучивали, обыкновенно одна была хоровой, другая — сольной, а третья — маршевой. В день соревнования давали сырые яйца, главным образом — запевалям и голосистым (Криницкий, Козорез, Шереметов и Шпора). Яйца, вместо того, чтобы их пить сырыми, превращались с сахаром в гоголь-моголь, и даже у «козлов» менялся голос, но не слух.

Соревнования происходили в большом зале. На сцене за закрытым занавесом, чтобы жюри не знало, какой класс поёт. Поротно пел **весь** класс. В глубине зала, у Кремля, сидело жюри, состоявшее из офицеров-воспитателей и М. С. Собченко, под председательством «Генпопа». Перед соревнованием классы тянули жребий на очередь выступления. Вся рота собиралась в нашей столовой, и классы по очереди задним ходом выходили на сцену. «Гришка» нас построил и успокоил:

— «Не дрейфьте»⁵⁹, братцы, смотрите на меня и на мою руку.

Хлопнул по руке камертоном, задал тон, поднял обе руки, отпустил нижнюю губу, и по его взмаху мы начали петь. Я старался молчать.

Какую песню мы пели первую, а какую вторую, я не помню, но одна из них была — «То не ветер ветку клонит, не дубравушка шумит», со вступлением вторы и наших «басов», которых «Гришка» сумел заставить действительно шуметь. После последней песни, возвращаясь назад в столовую и приоткрыв дверь в зал, подслушивали, как поют другие классы. Когда кончала петь вся рота, в столовой наступала зловещая тишина, пока жюри решало нашу участь, и все с замиранием сердца ждали, когда откроется дверь из зала и кто-нибудь из офицеров-воспитателей вызовет класс, получивший приз.

— Третий класс... выходи!

Класс выстроился перед жюри. «Генпоп» нас поздравил и вручил приз старшему классу и регенту, после чего, с песней и призом

⁵⁹ Не пугайтесь, не волнуйтесь.

на правом фланге, мы вернулись в роту. Радости, конечно, не было конца. Дискантов хлопали по плечам — молодцы! «Басы» шумели, что это их заслуга, а я, как «козёл», думал, что это был «Гришкин» приз. «Гришка» и XXIV выпуск брали призы во II, III и V классах.

Приз — бронзовый бюст Государя Императора Николая II — до следующего соревнования висел на стене класса под золотыми римскими цифрами выпуска, а под ним — полированная, тёмного дерева коробка-полочка, где под стеклом стояли миниатюрные головные уборы кавалерийских и пехотных полков Российской Императорской армии. Их сделал и подарил нашему выпуску отец «Гришки» — Пётр Иванович Григорьев.

Масленица

Прилетели грачи. Жаворонки, наверное, тоже прилетели, но я их не помню, а грачей запомнил. Может быть потому, что у нас в коридоре висела картина Саврасова «Грачи прилетели», которая мне нравилась. Я видел грачей из окон нашей спальни, когда был дежурным (наряды). Прилетали они небольшими стайками, не так, как осенью, — громадным чёрным облаком. Рассядутся на деревьях перед корпусом, да как подымут галдёж, хоть форточку закрывай. Сидят, чистятся... где-то в луже выкупались. То на одном, то на другом крыле пёрышки расправят, грудку почешут. Встрепенутся, хвостиком махнут — брызги летят. Взлетают, мошек каких-то на лету ловят, и вдруг как будто кто-то скомандовал «Смирно!», — все разом замолчали. Вылетит один — наверно их вожак — отдаст команду — и вся стая сразу снимется и улетит. Порядок — совсем как у военных.

К чаю нам дали «жаворонки». Красивые, румяные, с крылышками и хвостиком, и с гвоздикой или изюминкой вместо глаз и клювика, а пахнут ванилью и ещё чем-то. Жаль их есть, но мы их ментально разламывали, надеясь найти одну из серебряных монет, которые в них запекали.

На масленицу поротно к обеду получали блины.

Ещё задолго до блинов шли разговоры, кто может съесть больше всех блинов. Рассказывали всякие небылицы и анекдоты из домашней жизни (ведь многие уезжали домой на Пасху). Вспомнил и я, как в детстве мать пекла блины.

Наша маленькая печка, когда мы жили ещё в Ханриево, гудит. Раскрасневшаяся мама, в высоком переднике и с повязанной плат-

ком головой, печёт блины. Готовые блины ловко скидывает на уже высокую стопку. Пахнет кисловатым тестом и постным маслом. Рядом, на скамеечке, стоит опара, как живая дышит, а когда мама черпаком выльет её на горячую сковородку, зашипит, порозовеет и вспухнет пузырями.

Стол заставлен закусками, среди бутылок — икра, сметана, топленое масло и разные приправы для блинов. Тосты, звон рюмок и стаканов. Шлёпаются парами, а то и больше, горячие блины по тарелкам; мажутся, поливаются, режутся и отправляются в рот с причмокиванием. Я любил есть блины руками, так отец иногда ел. Оторвет кусочек, обмакнёт в сметану и — в рот. После первых блинов отец становился к печке, а мама садилась к столу. Любил отец печь блины. Ловко подбрасывая блин на сковородке, выпекал обратную сторону и сбрасывал на новую стопку. За столом — «масленичные» разговоры. Вспоминали, кто и как справлял масленицу у себя дома в России. И посыпались совершенно незнакомые мне названия: блины с припёком, блины молочные, блинцы с яичками, какие-то кулебяки. И рыба: осетрина, лещ с грибами и кашей, судак в сухариках, а потом ещё пломбир с ванилью и ещё с чем-то. Тогда мне казалось, что эти слова обозначают что-то только русское, так же как и ковыль, и колокольчики с русских степей. Прошло много-много лет, пока эти слова нашли своё место на полочках моей памяти. Правда, пломбир мама делала с ванилью, орехами, миндалем, — и я облизывал и ложечку, и блюдечко.

(Воспоминания... куда завели?! Цепляются одно за другое и нет им конца.)

Итак, получили мы по три больших блина: горячие, розовые, по краям в дырочках — «кружевные». В столовой — знакомый запах печёного теста и постного масла. У меня слюнки текут. От ноздреватых блинов поднимается благоуханный дух. На нижний блин накладываю сметаны, верхний поливаю маслом, и первый полукруглый, трехъярусный кусок отправляется в рот... блаженство! Исчезли они очень быстро. Мне три блина было достаточно, но многим — не хватило. Павлик Кутепов ещё долго сидел, поглядывая по сторонам, держа наготове нож и вилку.

Лермонтов здесь?

Сегодня на утренней молитве я обратил внимание, что небо — чистое, без единого облачка, синее, и солнышко ярко блестит на сне-

гу. В такой день после уроков нас выпустили на прогулку. Одели мы шинели, перчатки, и давай на двор — засиделись в казарме за зиму. Кто-то начал кидать снежками, но скоро перестал, — снег мокрый, тяжёлый, да и «дядька» Сева Высоцкий косо посмотрел: пост.

Одиноко торчат столбы для отбойной сетки. Вдоль ограды, в кустах чирикают голодные воробьи, а у здания корпуса намело сугробы: высокие, гладкие, позакрывали окна в подвальном этаже. С крыши капает, ещё остались короткие сосульки, а из водосточных труб бежит вода. Сверху снег, а внизу лужа, — я сразу ботинки промочил. Разбрелись мы по двору, кто парами, кто в одиночку. Пост — нельзя балаганить. Обошёл я здание и заглянул в опустевший садик, что под лазаретными окнами. Снег там ещё нетронутый, под солнышком посерел. Летом, среди деревьев и зарослей сирени, там было укромное местечко, что-то вроде живой беседки, где укрывались от жары, а сейчас во все стороны торчали голые ветки, как будто плетёные корзинки, оставляя на снегу кружевную тень.

Я смахнул снег со скамейки и присел. На солнышке тепло, кругом тихо — так и тянет вздремнуть. Под окном, в котором форточка, воробьи утоптали снег, очевидно, им тут крошки выбрасывают. Вдруг слышу стук. Совсем как Шурка Кравченко («Масик») на барабанах отбивает — мерный, ровный стук: «Старый барабанщик... старый барабанщик... крепко спал... крепко спал. Он проснулся, перевернулся, трижды... (нет, дальше писать нельзя, но можно закончить)... и сказал: старый барабанщик... старый барабанщик... крепко спал...» Поднял я на стук голову и вижу: на стволе ивы сидит дятел — красавец расписной. Пёстрый, чёрненькая головка с белой шейкой, а сверху — красная шапочка. Долбит дырку, а потом — прыг в сторону, и опять давай: «Старый барабанщик...», и так вокруг всего ствола. Понадевал на ивушку дырочками ожерелья — к весне разукрасил.

Развезло меня на солнышке... и я задремал... Просыпаюсь от холода. Солнце уже садилось... тишина... дятла нет и воробьи улетели. Вскочил, бегу на двор, а там никого нет. Скорей к двери... Взобрался по лестнице до площадки 1-й роты... а они уже построены... Бегу к себе... И только долетел до двери, как она открылась, и показался правый фланг V класса. Я так и остался стоять на площадке у дверей в музыкальную комнату. Когда проходил мой класс, «Кот» де Боде прошипел:

— Где ты пропадал?

Я не успел ответить, как шёпотом посыпались вопросы:

— Где ты спрятался?.. Тебя везде искали... по всем классам и спальням... и под кроватями смотрели...

Женька Демьянюк, мой сосед по парте, с сожалением пробормотал:

— А я думал, что ты в Румынию «сдрапал»⁶⁰.

(Это Волик Пожарский с Игнатием Копаневым на пару удрали в Румынию, чтоб пробраться в Россию и там бороться против большевиков, но их скоро поймали и вернули в корпус.)

В конце роты шёл дежурный офицер-воспитатель полковник Я. Н. Решиков («Дядя Яша»), наш общий любимец. Он поманил меня рукой, показывая на дежурную комнату.

— Ты где был?

Стою в шинели, фуражка в руках, холодно... дрожу... И стыдно признаться, что заснул, но «Яшке» мы никогда не врали, и если нам попадало, то безропотно несли наказание.

— Я, - говорю, — нечаянно заснул.

— Как заснул? Где заснул? На снегу?

И начал осматривать меня со всех сторон.

— Никак нет, господин полковник, не на снегу, а на скамейке, в садике, с той стороны двора, около лазарета. — И показал в сторону классов.

«Яшка» улыбнулся, растянулись его рыжие от табака усы и запрыгала его седая борода:

— Иди, разденься, да поторопись, а то чай остынет.

Добрый «Дядя Яша», строгий, но ласковый. Таким я его запомнил.

В журнал дежурств я все-таки попал, так «Яшка» и записал: «Заснул на дворе...», — но не наказали.

Потом ещё долго дежурные офицеры-воспитатели спрашивали «дядек», когда мы возвращались с прогулок: «Лермонтов здесь?»

Первый запах весны

Как-то, уже после масленицы, возвращаясь в класс из спальни, где мне как дневальному, надо было поправить плохо застеленные кровати, я невольно остановился у окна в коридоре. За окном капает — оттепель, а день — хмурый, серый. Облака спустились и «прудов» не видно. Мгла. На дворе снег посерел. Окна ещё по-зимнему заклеены, и между рамами песок. Над окном с верхнего карниза

⁶⁰ Сбежал.

свисают сосульки и плачут искристой каплей-слезой. Да, мне так и показалось, что они плачут, — кончается их короткое житьё. На подоконнике снег покрылся дырочками, как губка, и блестит тусклым светом, хотя и солнца нет. Открыл форточку, и повеяло теплым, с густым запахом земли, ветерком, и в груди стало теплей... Проваливай, зима, проваливай!

Воробьи, прыгая по лужам у задних дверей, чирикают, но уже веселей. Довольные, что зима уходит, — изголодались. Прилетели вороны и с карканьем расселись на голых деревьях позади нашего двора. В этой серой мгле их плохо видно, но зато слышно. Одна уселась на столб, где летом висит сетка для отбойки, и не перестаёт каркать. Присядет, растопырит крылья, вытянет шею, как гусь, да как зальётся своим карканьем, хоть уши закрывай. Весело каркает, на разные лады. Потом встрепенётся и, будто танцуя, подпрыгнет на том же месте, и, повернувшись в другую сторону, опять давай каркать.

Капля-слезинка хрустальных сосулечек зачастила, и я будто слышу переливчатый звон... (хотел было написать: колоколов, но тогда я ещё не слышал серебряного звона Суздальских колоколов, как в 1990 году), напишу: колокольчиков.

В православной Сербии есть древний обычай: в Вербное воскресенье — «на Вербицу» — приходиться в церковь с колокольчиком. Их вешали детям на шею, и они во время всего богослужения постоянно звенели. Звенели, как капельки сосулечек, падающие на растаявший снег.

— Лермонтов, ты что тут делаешь? Пошёл в класс!

Строгий голос страдавшего одышкой дежурного офицера-воспитателя полковника Прибыловича («Слона») так резко оборвал моё тихое созерцание двора, что я успел только сказать:

— Виноват, господин полковник. — И бегом пустился в класс.

Перед тем как войти в класс, я обернулся назад и увидел, как «Слон» стоял перед открытой форточкой и, облокотившись обеими руками на подоконник, смотрел на двор, глубоко вдыхая первый запах весны.

За котлету на карниз

У меня в классе был двойник — Николай Балашев-Самарский (или я был его двойником), в общем, мы были похожи друг на друга, хотя и не особенно, но нас путали. Даже наш классный офицер-

воспитатель полковник Зиолковский («Коча») нас путал. Когда я во время вечерних занятий подходил к нему за новой тетрадкой, он всегда оглядывался на класс, чтобы увидеть чьё пустое место: моё или Колькино. Многие преподаватели нас путали, но это в начале года, пока ещё не запомнили кто где сидит.

Мы оба поступили во второй класс, и с тех пор между нами появилось, своего рода, молчаливое товарищеское соревнование. Он что-нибудь сделает — и я тоже, я сделаю — он повторит. Это касалось, главным образом, гимнастики, но не исключало других игр и шалостей. Он был хорошим гимнастом и инструктором классной группы, — и я тоже. Единственная разница между нами была в том, что он хорошо учился, и по поведению у него было «четыре», или «пять», а я...

Как-то в один из пригожих дней, когда «Дидько»⁶¹ убрал песок с подоконников и помыл окна, собралась группа кадет у открытого окна. Миша Табуч-Ющенко сидел на подоконнике. Здание корпуса — старинное, стены толстые, подоконник широкий и удобный. Во время разговора о нашей кадетской чепухе возник вопрос: кто не струсит и ляжет на карниз под окном? Это с третьего этажа, а этажи у нас были высокие. Миша предложил, что он за котлету ляжет на карниз, и свесил ноги за окно. Желаящих спорить не нашлось. Тогда он сказал, что даст свою котлету тому, кто ляжет на карниз. Миша любил спорить на пари, подшучивать и заводить разные шутки.

— «Гулька», давай, ты — гимнаст, тебе это будет легко.

Я не особенно любил спорить, помня, как в детстве говорил дядя Ваня: «Из двух спорящих — один жулик, а другой — дурак» (вестовой отца, который знал много поговорок и пословиц), и мне не особенно хотелось стать или одним или другим, но тут стоял Коля Балашев, и мой четырнадцатилетний задор взял верх. Ударили по рукам, — и я полез в окно.

Карниз, покрытый жстью, шириной в 25—30 сантиметров, проходил под окнами вдоль всего заднего фасада на уровне пола так, что стать на него не представляло особой трудности, а вот лечь — это надо было сообразить. Вниз я как-то и не смотрел, придумывая, как лечь. Высунувшиеся в окно кадеты подавали советы:

— Ложись на спину... нет, ложись на пузо... стань сначала на колени...

Карниз имел небольшой наклон, и лечь на спину или на живот — значило скатиться. Я решил лечь на бок. Держась одной рукой

⁶¹ Наш уборщик.

за подоконник, я начал осторожно вытягивать ноги вдоль карниза, а другой, схватив край карниза, подталкивал свою спину к стенке, и, найдя некоторое равновесие, снял руку с подоконника (одно из условий). Наверху раздался шум и одобрительные возгласы и в то же время приглушенное предупреждение:

— Ш... ш... шесть! (Идёт «зверь» или «дядька».)

Осторожно, но быстро, я начал подниматься.

Полковник Зиолковский («Коча»), наш классный офицер-воспитатель, «залопал»⁶² меня, когда я влезал обратно в окно.

В журнале дежурств он записал, что я пытался «вылезти в окно». (На карнизе он меня не видал.) Мне не сбавили балла за поведение — некуда было сбавлять, но получил строгий выговор и предупреждение. Наш «дядька» «Маца» Гавлицкий, когда узнал, что произошло на самом деле, здорово рассердился, и хотел, было, «намылить мне шею» за такую опасную и глупую выходку, но смиловался и дал «пачку» нарядов (8), которых мне хватило до конца года, и красочно описал мне, как бы я мог выглядеть, если бы свалился с карниза.

«Табуч» — молодец, честно сдержал своё слово: в первый же день, когда на обед давали котлеты, я получил от него переданную под столами котлету и поделил её с Павликом Кутеповым.

Я так до сих пор и не знаю: удалось ли Коле Балашеву лечь на карниз или нет? Зная его удалой казачий характер, я уверен, что да.

Великий пост (4 апреля, 1939 год, Вербное Воскресенье)

В прощёное воскресенье просили прощение друг у друга. Батюшка о. Иоанн во время проповеди говорил: «Душу очистить надо». Я не особенно был горазд просить прощение. Принимая во внимание то обстоятельство, что я, наверное, дрался с большей частью класса, мне бы этих «прости» не хватило, поэтому я решил просить прощение только у двоих Алексеев, которым от меня чаще всего доставалось.

В классном алфавитном порядке Леонтьев Алексей стоял до меня, а Лишенко Алексей — после меня. Оба они хорошо учились и, кажется, сидели вместе. Леонтьев — мой друг детства, и ему попадало от меня ещё когда мы ходили в коротких штанах. Лишенко, поступивший к нам в третий класс, отличался необыкновенно тихим поведением, и если его случайно толкнуть, он говорил: «Спасибо».

⁶² Поймал.

Такой странный ответ, конечно, возбуждал наш мальчишеский задор, и следовали тумачи, на которые Алёша, совершенно не защищаясь, но уже более тихим голосом повторял: «Спасибо... спасибо». Придя в полное недоумение, наносивший тумачи останавливался и, чувствуя себя здорово неловко, отходил. Когда я к Алёше подошёл и попросил прощение, он сначала сказал: «Спасибо», а потом добавил: «Бог простит». Алёша Леонтьев сначала махнул на меня рукой — всё равно будешь драться, но потом всё-таки отпустил: «Бог простит».

* * *

Любил я Великий пост, и до сих пор люблю. Становилось как-то особенно спокойно. Где-то глубоко в груди смешивались и заполняли всю мою душу новые, ещё непонятные чувства грусти и в то же время тихой радости: скоро Пасха, Христос воскреснет.

Великопостные длинные службы. Я уже не «ловчил» — грех. В церкви полумрак. В алтаре совсем темно. Тихо, только изредка слышатся глубокие вздохи переминающихся с ноги на ногу уставших кадет. На душе тоже тихо и темно. Многого я тогда не понимал, и тут, в храме, прислушиваясь к чтению псалмов, к эфимонам и молитвам, стараясь понять их значение и смысл, я многое передумал и, как мне тогда казалось, понял.

Я начал находить ответы на мои любознательные «почему?» Почему Алёша Леонтьев попадёт прямо в рай? Ему и исповедоваться не надо. Сейчас мне было очень легко ответить. Потому, что он тихий, спокойный, добрый, хорошо учится, и готов отдать тебе всё, что попросишь, даже свой последний карандаш. Он сидел в классе передо мной. Сколько я получил «троек» вместо «двоек» благодаря его подсказкам или открытой книги перед ним, чтоб я мог прочесть ответ на заданный вопрос? В моём понимании он был чуть ли не святым. (Подсказки тогда не входили в мой перечень грехов.) Слыша, как Павлик Кутепов шепчет: «Господи, прости мя грешного», я тоже начинаю за ним повторять, и светлеет на душе и «почему?» не появляется.

Выходит из алтаря батюшка в одном эпитрахиле и читает молитву: «Господи и Владыко живота моего...» С облегчением трижды становимся на колени в земном поклоне (размялись), и уже легче стоять до конца службы. До сих пор, во время поста, когда в церкви священник читает эту молитву, я вспоминаю родной корпус. Никогда на моей душе не было так хорошо, так спокойно и чисто, как в те далёкие кадетские годы.

Великий пост на меня лично действовал благоприятно. Я переставал шалить; почти каждый год к Пасхе мне прибавляли балл за поведение; набирал хорошие отметки; в общем, больше учился и меньше балаганил, как отец наставлял.

На уроках в классе — как-то по-другому. Сидим спокойно, внимательно, и если кто начинает балаганить, на него шикают. Ненавистный Д. Д. Данилов («Де в кубе») мне кажется уже не таким строгим и безжалостным, а «Пакля» — чуть ли не на ангела похожа, правда, на старого, но, тем не менее, на доброго.

Корпус говел на четвёртой Крестопоклонной неделе. По средам и пятницам постная пища. В воскресенье батюшка будет выносить крест, украшенный цветами, и хор торжественно запоёт «Кресту Твоему поклоняемся, Владыко...» Когда мы спускались по лестнице в церковь, я уловил какой-то новый запах. Пахло не то грибами, не то жареной картошкой, и ещё чем-то новым, неуловимым. Уже в столовой меня обдало вязким духом свежего выпечённого хлеба, и перед глазами появилась розовая горбушка белого хлеба. Когда зашли и стали в церкви, запах горящих свечей и ладана напомнил мне, что сейчас пост, и не о еде надо думать, а о грехах, — опять согрешил. Как тут было не грешить, когда на обед подавали постный борщ с маслинами и сушёными грибами, картофельные котлеты с грибным соусом, большие розовые пончики с черносливом, рисовые котлеты «лодочкой» с изюмом, оладьи с мёдом! Становилось как-то неловко, совестно, среди поста так наслаждаться чревоугодием.

В коридоре на переменах тихо. Кадеты ходят — не бегают. Нет возни, нет шума и смеха, и штрафных не видать. У киота с иконой св. равноапостольного князя Владимира горит лампадка. Это дежурные по коридору её зажигают и следят, чтобы не потухла. Погода серенькая: или последний жиденский снежок, или тёплый дождик. Окна ещё по-зимнему заклеены. Откроешь форточку и слышно, как капля звенит по жестяному карнизу, на котором снег уже растаял. Душа радуется — зима уходит, а думать надо о грехах — вечером исповедоваться. Многие записывают свои грехи, чтобы прочесть батюшке, а я свои стараюсь запомнить, и всё сбиваюсь: один вспомню, а другой забуду, — в ушах тихо гудит «Кресту Твоему поклоняемся, Владыко...»

На свободных уроках полковник Прибылович («Слон») читал нам «Запечатленный ангел» Минцлова. Несмотря на астму и одыш-

ку, «Слон» читал превосходно. В классе всегда стояла полная тишина, и все с большим вниманием и интересом его слушали. Немного дольше останавливаясь на точках, чтобы набрать воздуха, «Слон», не спеша, с выражением читал, закругляя каждое слово и придавая особые ударения именам существительным. Внимательно подбирая то, что нас интересовало, он в течение года нам прочёл: «Дубровский», «Барышня-крестьянка», «Князь серебряный», и после каждой книги обсуждал с нами прочитанное.

Во время вечерних занятий «Коча» Зиолковский отправлял нас на исповедь. По рядам, как в классе, были расставлены парты. Спускались вниз в нашу столовую и выстраивались вдоль стенки у дверей в алтарь. Стоим молча, каждый перебирает в уме свои грехи, некоторые поглядывают на записочки. Мне стало страшно: что будет, если батюшка не отпустит мне грехи и наложит эпитимью? Коля Сараев, чуть лоб себе не разбил — отбивал поклоны за какой-то грех. Ох, попаду прямо в ад. А там что? Нет! Всем отпускают грехи, если покаешься. Вспомнил я слова о. Иоанна, которыми он как-то закончил урок: «Хорошая наша вера — добрая. Всегда выведет на путь истины и от зла сохранит». Дверь открылась, и вышел Спокойский-Францевич Женя («Спайк»). Лицо спокойное, радостное — улыбается. Следующий — я. В алтаре темно — закрыт панелями со стороны зала. И пока глаза не привыкнут, я не вижу, куда идти. Тускло мерцает только одна свечка у аналоя, и я с трудом различаю белую бороду о. Иоанна. Батюшка накрывает мою голову епитрахилью, и я чувствую на щеке лёгкое прикосновение его бороды и тихий спокойный голос:

— Чем каешься, сын мой?

— Каюсь словом, делом и помышлением...

Сначала еле выдавливаю слова, а потом, как полились... и чем больше я говорил — каялся, тем легче и радостнее становилось на душе — свято.

Ребус

*...Дела давно минувших дней,
Преданья старины глубокой...*

Коварна и беспощадна наша память, а в частности моя, лишившая меня на старости лет многих дорогих воспоминаний. Однако, на моё счастье, есть и те, которые помнят то, что я забыл или не знал.

В те далёкие годы (1938—1939) к нам во 2-ю роту редко доходили кадетские «новости» из старшей роты, а если что и просачивалось, то это уже был «испорченный телефон», с искажением фактов и преувеличением — «утка», как мы выражались. Так, например, про похождения князя Кирилла Голицына, известного ухажёра (XVIII выпуска), рассказывали всякие небылицы. Свои ротные проказы не успевали перейти в «утки», так как мы их узнавали из первых рук.

Из постоянного общения с «дядьками», которые строго охраняли тайны своей роты, узнать от них что-нибудь было тяжело, зато о самих «дядьках» мы знали, возможно, больше, чем о других старших кадетах. Эти характерные черты каждого из них тоже были минимальные. Мы отдавали предпочтение вице-фельдфебелю, унтер-офицерам, гимнастам, а я интересовался ещё и художниками. Наряду с ними, и часто включая кого-нибудь из них, существовала ещё одна небольшая группа особо тонных кадет-щёголей — «тоняг»⁶³, которая привлекала наше внимание из-за того, что они ухаживали за институтками. Тогда (мне было только 13 лет) в нашем понятии «ухаживать» обозначало развлекать даму в течение всего танца, в то время как я в тот же период мог задать, самое большое, два вопроса: «Как Вас зовут?» или «В каком Вы классе?», и если получал ответ на хотя бы один вопрос, то был счастлив. В эту категорию сердцеедов нами был зачислен и наш добрый, ласковый «дядька» Дима Иванов. Брат прелестной блондинки Лидочки, которой Дима уделял особое внимание, Игорь Хоренко («Китаец») был нашим одноклассником, от которого мы узнали секрет Димы.

Дима Иванов, которого одноклассники называли «Ивась», старший кадет VIII класса, XIX выпуска, был назначен к нам «дядькой» — в III класс, XXIV выпуска — в первой половине 1938 года. Высокий блондин, с добрыми светло-голубыми глазами, всегда в опрятной гимнастёрке с заправленными назад складками и тщательно выглаженными брюками «клёш» (у них, в комнатке «дядек», был уют), казался нам олицетворением «лихача», «тоняги». Покорял он нас своим невозмутимым спокойствием, даже в момент наших самых непростительных проказ — добрым, ласковым, обращением. На нас поразительно действовал его спокойный тон, успокаивая задор и шалости. Я даже не помню, чтобы он ставил меня на «штраф». Дима заполнил тот пробел «теплоты», которого в

⁶³ Особо тонный, аккуратный и подтянутый кадет. Модник, щёголь.

нашей сугубо военной жизни не хватало, во всяком случае, мне не хватало.

Где-то во второй половине года до нас дошла «утка», что кадеты Роты Его Высочества ночью залезли через окно в институт на свидание со своими дамами сердца. Разнообразие версий этой «утки» выходило за пределы нашей кадетской фантазии, и даже возникали разногласия и споры по поводу правдивости одного или другого варианта. На фамилии и на подробности «утка» не распространялась, однако это не была бы «утка», если бы чего-нибудь не прибавилось, и следовала саркастическая добавка: *Когда встреча у окна затянулась, стоящая на «махалке» институтка запротестовала: «Довольно вам там целоваться, я хочу спать!»*

Впоследствии я слышал несколько вариантов этой «утки» с разными добавлениями («отсебятиной») и комическими деталями. Когда же кто-нибудь интересовался фамилией этих смельчаков, то называли целый ряд кадет XIX выпуска, с приставкой «может быть». Так я и не знал, кто они.

Разбросала нас судьба из родного Гнезда за моря и океаны, по всем меридианам земного шара, однако нет в мире силы, которая бы разорвала цепи товарищеской дружбы, навеки скованной в стенах корпуса, и я опять встретил своих одноклассников, старших кадет и «дядек». Хотя наши помыслы, вопреки возрасту, устремлены вперёд, на будущее любимой Родины, мы чаще, оглянувшись назад, вспоминаем прошлое. Естественно, у каждого поколения есть своё прошлое, и относимся мы к нему бережно, с большим вниманием и любовью.

Недавно, я получил письмо от Димы Иванова, которое до того растормошило мои старые воспоминания и решило загадку шестидесятилетней давности, как нужная буква в до сих пор неразгаданном ребусе, что я, не выдержав моего обещания, ещё в начале моей «писанины», писать только о себе, выпросив у Димы Иванова разрешение, и с его письма пишу эти строки.

* * *

Вместо предисловия хочу обратить внимание и предупредить читателя XXI века, а в особенности юного читателя, на нравы того времени, и на высокую мораль кадет, которая не была похожа и резко отличалась от современных взглядов и отношений между юношами и девушками. Это особо важно, так как Дима, оберегая секрет участни-

ков обоего пола этой юной шалости — безобидной шалости и больше ничего — в течение долгих лет руководствовался высоким благородным чувством не выдавать своих товарищей и институток. Сейчас, как Дима пишет, после шестидесяти с лишним лет, секретов больше нет.

* * *

Официально кадеты с институтками встречались на Корпусном балу 6 декабря (новый стиль), и на Ротных праздниках своих рот. Рота Его Высочества праздновала Корпусной праздник Полоцкого кадетского корпуса 19 декабря (новый стиль). Таким образом, старшие кадеты могли встретиться со своими симпатиями только два раза в учебном году. Разве этого достаточно для влюблённого по уши старшего кадета?

Редко, но можно было встретить институток на прогулках по аллее в Рудольф-парк и, проходя строем мимо рядов институток, хотя бы взглянуть на милое лицо, а если удастся, когда зазевается классная дама, передать письмо, — это было уже достижение. Если это не удавалось, особые страдальцы, находясь в отпуску в воскресный день или праздник, прогуливались у стен института в надежде, что в окне мелькнёт знакомая головка.

В течение всего остального года, когда на вечерах, устраиваемых корпусом или институтом, они встречались только издалека, и общения между ними, по строгим правилам наших «зверей» и «классидр», не могло быть, кадеты прибегали к полумере — переписке, которая также строго воспрещалась.

О размерах писем, которые доходили до целых тетрадей, и о способах их передачи в институт можно написать целую книгу. Кадетская изобретательность находила всевозможные способы доставлять пылкие письма по назначению, вплоть до того, как пишет Дима, в портфелях преподавателей, у которых были уроки как в корпусе, так и в институте.

После Корпусного и Ротного праздников, после Рождества и каникул, когда пары встречались сравнительно часто, а до Пасхи ещё далеко, и, как назло, весна, заменив зиму, меняет не только покров земли, но и действует на пылкое биение юных сердец, ждать было невмочь. Вот в этот период и возникла мысль у отчаянной тройки старших кадет каким-то образом повидать своих симпатий.

Окружив строжайшей тайной своё намерение, трое старших кадет: знаменщик выпуска Шура Ратнов, Володя Китайсков, один

из лучших гимнастов выпуска, и Дима Иванов начали подготовку к своему рискованному замыслу.

Когда я прочитал в Димином письме фамилии участников, Шура Ратнов меня не удивил, так как он жил в одном городе со мной, в Скопле, где, встречая его в церкви не только красавцем-кадетом, но и позже — юнкером Югославянской Военной Академии, я с гордостью (наш кадет!) и с завистью (это грех, от которого я не мог избавиться) старался стать поближе к нему, и замечал направленные на него благосклонные взгляды русских барышень нашего города. Уже тогда я видел, что «Жук», как его называли одноклассники, пользуется успехом у слабого пола, а он уделял особое внимание институтке седьмого класса Тане Вертеповой. Володю я плохо помню, а от Димы я этого не ожидал. Наш добрый, голубоглазый, ласковый «дядька»?! Правда, были некоторые подозрения, однако его участие оказалось той недостающей буквой в неразгаданном ребусе.

Ввиду того, что днём пробраться в институт не было никакой возможности, у них назрел план произвести это ночью. Тёмной, безлунной ночью, после двенадцати часов, когда уже все спят. Следующее, нужна была отмычка для дверей в наш гимнастический зал, из окон которого можно было выскочить на двор. Дальше, нужен электрический фонарик, для условных сигналов институткам, и толстый канат, чтобы залезть на балкон, который находился на крыше парадного крыльца института и как раз под окнами спальни, где спал весь седьмой класс и виновницы всей этой опасной затеи. Также надо было заручиться поддержкой ночного дежурного по роте, одноклассника Юры Жедилягина, без ведома которого было невозможно спуститься на первый этаж.

Для того чтобы институтки не смогли отказать в свидании, на которое были принципиально согласны, но не с такими приключениями, им дали знать только перед назначенной ночью.

В эту ночь, конечно, никто из этой тройки не спал от возбуждения предстоящей опасности. Уложив «куклы» в кровати, на всякий случай, они, тихо спустившись на первый этаж, открыв гимнастический зал отмычкой и выпрыгнув в окно на двор, оказались благополучно на воле.

Могу вообразить: свежая весенняя ночь, и три отважных фигуры с канатом тайком пробираются по задним тёмным улицам спящего города. Совсем как в рыцарских романах. Ни одного прохожего. Полная тишина, как Дима пишет, только изредка где-то залает собака.

Достигнув знакомого здания института, в центре города, перед которым уже начал зеленеть парк, они спрятались в кустах, прислушиваясь в ночной тишине к любому шороху, и слышали только биение собственного тревожного сердца. Ожидая назначенного часа, от нетерпения, минуты казались часами. В голове крутились беспокойные догадки: а вдруг институтки не получили их предупреждения или не решились на свидание? А минуты тянутся, как капли по лбу на средневековой пытке.

Точно в указанный час замигал фонарик. Напряжение нервов достигло своего апогея. И вдруг над балконом открылось окно, и появилась тёмная фигура. На душе сразу отлегло, и канат, умело заброшенный, полетел на крышу, где эта же незнакомая особа быстро и ловко завязав его за орнаментальные металлические перила, опять скрылась в окне. Дима пишет, что по сей день не известно, кто была эта храбрая соучастница их затеи.

Между ними было заранее условлено, что первым полезет Шура, так как он самый тяжёлый, и если канат выдержит, следующим полезет Дима, и последним, как самый лёгкий и хороший гимнаст, полезет Володя. Канат выдержал. Шура, как на уроке гимнастики, подтягиваясь, пока Дима внизу держал канат, благополучно добрался до крыши, и Дима тоже быстро залез, а с Володей, хотя он и гимнаст, произошёл казус: так как канат некому было держать, он раскачивался, и Володя случайно разбил ногой стекло в вестибюле. Треск разбитого стекла в ночной тишине, казалось, зазвенел по всему городу. Втащив канат на крышу, и притаившись на балконе под окнами спальни, эти три «Ромео» прислушались. Где-то в здании института раздались шаги... хлопнула дверь... и опять всё стихло. Через несколько мгновений открылись окна и на подоконниках появились в халатиках «Джульетты».

«Вот вам и Шекспир, полная идиллия, только не хватает музыки Чайковского» — это слова Димы. А я бы прибавил: и луны, так как она создала бы соответствующее данному моменту настроение, но ночь была тёмная.

Весь седьмой класс не спал и живо переживал необыкновенное появление кадет у окон их спальни. Сразу кто-то стал на «махалку», следя за появлением неожиданной опасности в виде дежурной клас-сной дамы, что и произошло. По данному сигналу все разбежались по своим кроватям, закрыли окна, а нетерпеливые ухажё-

ры прилегли на крыше под окнами. Выждав, пока всё успокоилось, институтки открыли окна, и опять в ночной тишине был слышен нежный шепот юных голосов.

«Трудно передать, что переживали в тот момент наши юные чистые души», — пишет Дима. И я с ним согласен — надо самому пережить, и, если обладаешь красноречием наших поэтов и писателей, только тогда попытаться передать эти сложные, романтические движения чистой молодой кадетской души, ещё не запачканной суровой действительностью жизни.

Могу себе представить, каким тяжёлым казалось расставание, однако, принимая во внимание поздний час, им надо было возвращаться в корпус. «Заметая свои следы» и «пряча улики преступления», как пишет Дима, они тем же путём благополучно вернулись в корпус.

Лёжа в своих кроватях и перебрав все подробности этого ночного свидания, уже под утро Дима вспомнил слова старой военной песни «Чёрные Гусары», которую их выпуск исполнял на соревнованиях по пению в 1939 году:

...И не снится седым командирам,
Что творится у них под окном.

Эпилог

В корпусе стало известным, что в институте производилось следствие по поводу разбитого стекла. Постановили: окно разбил камнем проходивший хулиган. (Написано по письму с рассказом Дмитрия Иванова, XIX выпуска.)

Пасха

(6 апреля 1939 года, Страстной вторник)

В субботу перед Вербным воскресеньем кадеты уезжали на пасхальные каникулы. Я всегда оставался в корпусе. Отцу было тяжело брать меня домой и на Пасху, и на Рождество. Так я на Пасху дома и не побывал.

Осталось нас мало — полурота. Всех свели в помещение 1-й роты, в одну спальню. Любил я этот период, когда со старшими кадетами можно было ближе познакомиться и перенять их дух и быт кадетской семьи. В церковь ходили общим строем под командой ка-

дета старшего выпуска. «Дядек» не было, но зато все старшие кадеты держали нас в «ежовых рукавицах».

В воскресенье в церкви получили вербачки. Зелёные и такие пушистые, жёлтые серёжки свисают. Лист острый, сверху тёмно-зелёный, а снизу как будто серебряный. Кто-то говорил, что в России другая верба, и какая погода будет в Вербное воскресенье, такая будет и на Пасху.

Вот и Святая Страстная неделя пришла. Я уже точно не помню, но мне кажется, что мы ходили в церковь каждый день. Хорошо помню двенадцать Евангелий в Страстной Четверг, как мы отсчитывали Евангелия и, сбиваясь, спрашивали друг у друга, ожидая последнего. В Страстную Пятницу вместе с батюшкой выносил Плащаницу и директор корпуса. У Плащаницы, всю ночь и завтра весь день, будут стоять на часах два кадета. Мне как-то не попадало (наверное, «ловчил»). Но товарищи рассказывали, что ночью легче стоять — можно отставить ногу или даже присесть. Кадеты, и часто персонал корпуса, всю ночь считали часы. Утром в Страстную Субботу ходили в баню. Тихо, степенно мылись (в бане всегда бывал балаган, а это — Страстная Суббота) и, одевши чистое бельё, распаренные и покрасневшие возвращались в роту. Получали в цейхгаузе парадные белые рубашки, которые надевались к Заутрене, первый раз в этом году. Рано ложились спать. Мне спать не хочется, а перед глазами маячат яйца и куличи. Не успел я заснуть, как нас начали будить к Заутрене. Поспешно одеваюсь. Ботинки уже начищены — блестят; вынимаю брюки из-под матраца — складка, как будто утюгом выглажена; на белой рубашке пуговицы блестят звёздочками; бляха сияет. Друг друга осматриваем — складки позади расправляем. У всех на лице улыбка нетерпения. В церкви полумрак. Считаем часы. Наряд у Плащаницы в белых рубашках. И когда начинают разбирать хоругви для Крестного хода, я улавливаю тихий отдалённый, а потом всё громче и громче, «колокольный» звон⁶⁴. Со свечками в руках, под пение: «Воскресение Твое, Христе Спасе...» обходим здание корпуса и останавливаемся у главного входа, откуда батюшка трижды провозглашает «Христос Воскресе!» Дружное

⁶⁴ На заднем дворе были подвешены разного размера железнодорожные рельсы, и наши «звонари», главным образом кадеты-калмыки и магометане, искусно на них подражали колокольному звону.

и радостное «Воистину Воскресе!» пререзает ночную тишину. Многие начинают христосоваться, но это уже на ходу, — возвращаемся в церковь на Пасхальную литургию. Недогоревшие свечки я не возвращаю — пригодятся топить сало в парте. Стоять уже не тяжело — размялись в Крестном ходе, но в животе начинает бурлить — проголодались — ведь целый день не ели. Слабым малышам из 3-й роты разрешили сесть на скамейки между пролётами. Через окна начинает пробиваться румяный рассвет. Служба кончается, но Царские Врата остаются открытыми — Христос Воскрес! Начиная с 3-й роты, подходим христосоваться к батюшке и к «Генпопу», около которого стоит старший кадет и держит корзинку с крашенками. «Генпоп» весёлый, улыбается, редко мы его видели улыбающимся, всегда — серьёзный, выдержанный и строгий. Подхожу и я к батюшке: «Христос Воскресе!» — «Воистину Воскресе!», его борода мягко щекочет мои щёки. Отец Иоанн у нас был старенький, и тяжело ему было после долгих Пасхальных служб столько выстоять. Он скоро возвращался в алтарь. Христосуюсь с «Генпопом». Его гладко выбритые щёки пахнут душистым мылом или «Eau de Cologne». Получил яичко... а он задержал:

— Ты не заснул? — И улыбается.

— Никак нет, Ваше Превосходительство!

Запомнил... Ведь «Яшка» ему наверняка докладывал, что я заснул на дворе, и меня искали.

Из церкви прямо переходим в столовую Роты Его Высочества, где нас встречают накрытые столы, и важно разгуливает «Жила» — наш эконом — полковник В. Н. Герцог. Столы накрыты белыми скатертями, стоят букеты свежих цветов, а кругом — аж глаза разбегаются: на высоких громадных куличах с сахарной верхушкой горят свечки, благоухает румяная ветчина, горка сырной пасхи и полное блюдо крашеных яиц. Пропели ещё раз «Христос Воскресе» и приступили к еде. Цокают яйца, исчезает ветчина с горошком, режут кулич равными кругами, а верхушку с глазурью делят на равные части, чтобы всем досталось. Кулич сдобный, с чёрным изюмом — постный, как старшие говорили. Когда мне передали тарелочку с сырной пасхой, которую, накладывая на кулич, ел, запивая чаем, я почувствовал, что мой ненасытный кадетский желудок отменно полон.

Когда мы утром (солнце уже встало) вернулись в спальню, то я блаженно растянулся на кровати, вспоминая, как в детстве говорил есаул Николай Чибышов: «Отчего казак так гладок? Що, поив — и набок».

(В некоторые годы, на Пасху, кадеты и институтки разговлялись в корпусе вместе, но при мне этого, к сожалению, не было.)

На Пасху мне прибавили балл за поведение — на «три». После лежания на карнизе, и предупреждения, я не ожидал. Очевидно, «звери» ещё не потеряли надежду, что я исправлюсь.

(Отрывки из книги воспоминаний М. А. Лермонтова, кадета 24-го выпуска Первого Русского Великого Князя Константина Константиновича Кадетского Корпуса, касающиеся его пребывания в этом корпусе. Эти воспоминания, размером около 600 страниц, под названием «Почему я? Биографический очерк» охватывают всю жизнь автора в Эмиграции, и были им закончены незадолго до его кончины в конце 2008 года. В настоящее время, русские зарубежные кадеты ищут возможности издать эту очень интересную книгу.)